

3-87
— ХУДОЖЕСТВЕННАЯ —
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОД РЕД. ПРОФ. Л.С. КОГАН



ЭМИЛЬ ЗОЛА

Р И М

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛКЦ. ИЗД. О-ВО «БЕЗБОЖНИК»

190285-1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ СССР
БИБЛИОТЕКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АНТИРЕЛИГИОЗНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. П. С. КОГАНА

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

Р И М

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

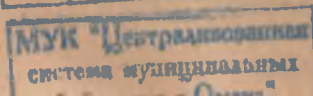
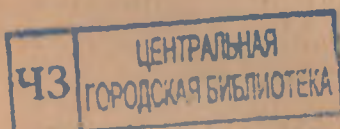
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
проф. П. С. КОГАНА

Книга третья

АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЗБОЖНИК»
МОСКВА — 1930

47 p2)
3-81

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ГУДОК»,
МОСКВА, УЛИЦА СТАНКЕВИЧА, 7.
В КОЛИЧЕСТВЕ 12.000 ЭКЗ.
МОСГУБЛИТ № 62012.
ЗАКАЗ № 2484.



190285-1

КНИГА ТРЕТЬЯ.

I.

Пьер, единственной мыслью которого было поскорее кончить со всем, хотел начать со следующего же дня энергично действовать. Однако, он колебался: к кому обратиться прежде всего, с кого начать свои визиты, если желаешь избежать всяких ошибок в мире таком тщеславном и с такими сложными отношениями. Открывая дверь своей комнаты, он по счастливой случайности, увидел в коридоре дон Вижилио, секретаря кардинала, и попросил его зайти к себе на минутку.

— Вы окажете мне большую услугу, господин аббат. Я доверяюсь вам, мне нужен совет.

Пьер догадывался, что этот маленький худощавый человек с шафрановым цветом лица, всегда лихорадочно возбужденный, посвящен во все. До сих пор не желая, вероятно, подвергаться опасности скомпрометировать себя, дон Вижилио как-будто избегал встреч с Пьером. Тем не менее в последнее время он, повидимому, не так уже дичился и черные глаза его блеснули, когда ему случилось встречаться со своим соседом. Можно было подумать, будто и сам дон Вижилио был охвачен нетерпением, которое должно было сжигать и Пьера, так долго обреченного на полное бездействие. И вот теперь он не старался уже уклониться от разговора.

— Извините, — снова заговорил Пьер, — что я пригласил вас в комнату, где такой беспорядок. Еще сегодня утром мне прислали из Парижа белье и зимнее платье... Представьте, я приехал сюда с маленьким чемоданом на две недели, и вот уже скоро три месяца, как я здесь, а со дня моего приезда мое дело не подвинулось ни на шаг вперед.

Дон Вижилио слегка кивнул головой.

— Да, да, я знаю.

Пьер рассказал аббату, что монсиньор Нани передал ему через графиню, чтобы он начал действовать, повидаться со всеми и защищал свою книгу. Теперь он очень затрудняется как лучше всего распределить свои визиты. Не следует ли ему, например, прежде всего повидаться с монсиньором Формарн прелатом-советником, которому поручено, как ему передали, составить доклад о его книге.

— А, воскликнул Джон Виджилио, вздрогнув, — монсеньор Нани даже называл вам имя докладчика!.. О, я не мог представить себе ничего подобного!

Забываясь, совершенно отдавшись своей страсти он продолжал:

— Нет, нет, не начинайте с монсеньором Форнаро. Пойдите, сделайте сначала почтительный визит префекту конгрегации цензуры, — его высокопреосвященству кардиналу Сангвинетти. Он никогда не простил бы вам того, что вы пошли выразить свое почтение кому-нибудь другому прежде него, если бы он когда-либо узнал об этом...

Дон Виджилио на мгновение умолк и потом, с лихорадочной дрожью, более тихим голосом добавил:

— А он узнал бы. Все здесь делается известным.

Пьер тотчас же отправился к кардиналу Сангвинетти. Было десять часов утра и потому он мог еще, пожалуй, застать его дома. Кардинал жил недалеко от церкви св. Людовика Французского, в темной и узкой улице, в первом этаже маленького дворца, перестроенного на буржуазный лад. Этот дворец не имел ничего общего с гигантскими развалинами, царски-величественными и навещающими тихую грусть, где жил кардинал Бокканера. Прежние парадные покои и службы были уничтожены. Ни тронного зала, ни большой красной шляпы кардинала, висевшей над балдахином, ни кресла, приготовленного для папы и стоящего перед обращенным к стене, здесь не было. Две комнаты рядом служили передними, затем следовал приемный зал кардинала. Все это было обставлено без роскоши, даже без комфорта. Мебель красного дерева времен империи, драпировки и ковры были запылены и выцвели от долговременного употребления. Гостю пришлось долго звонить. Лакей, не спеша надевавший камзол, приоткрыл, наконец, дверь и сказал, что его высокопреосвященство вчера уехал в Фраскати.

Пьер вспомнил тогда, что кардинал Сангвинетти действительно занимал одну из пригородных епископских кафедр. Во Фраскати он имел свой епископский дом-виллу, куда он ездил пожить несколько дней, если его побуждали к тому желание отдохнуть, или какие-либо политические соображения.

— А скоро вернется его высокопреосвященство?

— О, это неизвестно... Их высокопреосвященство больны. Они настойчиво приказали никого не посылать туда, чтобы не беспокоить их.

Когда Пьер снова вышел на улицу, он почувствовал себя совершенно сбитым с толку этой первой неудачей. В виду необходимости сделать все возможное скорее, не следует ли ему, немедленно, отправиться к монсеньору Форнаро, на площадь Навон, расположенную по соседству? Но он вспомнил о совете, данном ему доном Виджилио, посетить прежде кардиналов и его вдруг осенила новая мысль. Пьер решил немедленно же повидаться с кардиналом Сарно, с которым он в конце-концов познакомился на одном из понедель-

ников донны Серафины. Все считали кардинала Сарно одним из самых могущественных и влиятельных членов священной коллегии, несмотря на его умышленную скромность; это не мешало однако, его племяннику Нарсису говорить, будто он не знает чело- века более тупого во всем, что выходит из сферы его обыденных занятий. Кардинал не заседал в конгрегации цензуры и потому мог всегда дать хороший совет, пожалуй, даже оказать, в виду своего влияния, некоторое воздействие на своих товарищей.

Пьер прямо направился во дворец пропаганды, где, он знал, можно застать кардинала. С Испанской площади видел тяжело-весный фасад этого дворца—огромного массивного здания, ничем не украшенного, занимающего весь угол между двумя улицами. Пьер, плохо говоривший на итальянском языке, совершенно заблудился там; он то подымался наверх, то опускался вниз; пред ним открывался целый лабиринт лестниц, коридоров и зал. Наконец, ему посчастливилось наткнуться на секретаря кардинала, молодого очень вежливого священника, которого Пьер видел уже во дворце кардинала Бокканера.

— Да, конечно, я думаю его высокопреосвященство согласится принять вас. Вы прекрасно сделали, что пришли сюда именно теперь: кардинал бывает здесь каждое утро... Пойдемте со мной, прошу вас...

Это было целое путешествие. Кардинал Сарно долго состоял секретарем «Пропаганды», а теперь председательствовал как кардинал в комиссии, заведывающей организацией религиозного культа в странах Европы, Африки, Америки и Австралии, недавно поддавшихся проповеди католицизма. В качестве председателя комиссии он имел во дворце свой кабинет и несколько канцелярий,—целое административное учреждение, где полновластно царил. Этот чиновник, маниак, казалось, состарился в своем кожаном кресле, никогда не выходя за пределы узкого круга своих зеленых шапок и не зная ничего о мире, кроме того, что он видел на улице, по которой мимо его окон проходили пешеходы и проезжали ко-ляски.

В конце темного коридора, освещенного даже днем газовыми рожками, секретарь пригласил своего спутника подождать на скамеечке. Прошло более четверти часа, пока он вернулся, как всегда услужливый и предупредительный.

— Его высокопреосвященство занят. У него совещание с от'езжающими миссионерами. Но это скоро кончится и он велел мне проводить вас в кабинет. Вы там подождите его.

Когда Пьер остался один в кабинете, он с любопытством начал рассматривать обстановку. Комната была довольно велика и убрана без всякой роскоши, с зелеными обоями на стенах, с мебелью черного дерева, обитой тоже зеленым дама. Два окна, выходившие в узкую боковую улицу, тускло освещали потемневшие стены и выцветший ковер. Кроме двух консолей, в комнате стоял только, у одного из окон письменный стол простой, черного де-

рева с продырявленным сукном, которого, впрочем, совершенно не было видно, так весь стол был завален всевозможными «делами» и бумагами. Пьер сначала подошел к нему, посмотрел на кресло с просиженным углублением, на ширму, прикрывавшую его от резких лучей солнца, на старую чернильницу, забрызганную чернильными пятнами; потом им овладело нетерпение среди тяжелого неподвижного воздуха, давившего его грудь, и глубокой зловещей тишины, нарушаемой лишь заглушенным грохотом уличной жизни.

Когда Пьер решил тихо ходить из угла в угол по комнате, ему бросилась в глаза карта, прибитая к стене; она заинтересовала его и возбудила в нем такие серьезные мысли, что он совершенно забыл обо всем. Раскрашенная карта изображала католический мир, всю землю, как бы развернутый земной шар; различные оттенки красок указывали земли, или покоренные победоносному католицизму, — полному владыке там, — или же только подпавшие под влияние его, — борца с неверными. Эти последние подразделялись, смотря по организации, на викариальные и префекториальные области. Не являлась ли подобная карта графическим изображением всех веков усилий католицизма, его векового стремления к мировому владычеству, которого он жаждал с самых ранних времен, которого не переставал жаждать ни на минуту и к которому всегда стремился? По глубокому убеждению его представителей, господь отдал мир владычеству католической церкви, но ей все-таки приходится овладеть миром, потому что заблуждения продолжают царить. Отсюда вечная борьба, отсюда попытки, даже в наши дни, исторгнуть целые народы из-под господства враждебной религии, совершенно так же, как в те времена, когда апостолы покидали земли иудейские, чтобы распространить по миру учение евангелия. В средние века великой задачей было организовать покоренную Европу, при полной невозможности сделать даже попытку войти в соглашение с восточной церковью. Потом над Европой пронеслась реформация, и таким образом, с точки зрения католицизма к одной ереси прибавилась другая, теперь поэтому приходилось вести борьбу с половиной Европы, подпавшей под влияние реформации и со всем православным востоком, чтобы покорить их себе. С открытием Америки воинственный пыл снова разгорелся. Рим стремился завладеть этой второй половиной земного шара; были организованы и отправлены туда проповеднические миссии, чтобы подчинить своей религии еще так недавно никому неизвестный народ, созданный богом вместе с другими народами. Таким образом, сами собой возникли для них современные деления христианства: с одной стороны — католические национальности, среди которых оставалось лишь поддерживать веру; ими полновластно управлял «статс-секретариат», учрежденный при Ватикане; с другой — еретические и просто языческие нации, которых приходится или вернуть в лоно церкви, или же обратить в христианство. Над

этим последними старалась владычествовать конгрегация пропаганды. Впоследствии конгрегация пропаганды должна была, в свою очередь, разделиться на два отделения, чтобы облегчить свой труд: на восточное, со специальной задачей бороться с еретическими сектами востока, и романское, заведующее всеми другими странами, где ведется пропаганда. Все вместе представляет широко поставленную завоевательскую организацию; бесконечную сеть с крепкими и мелкими петлями, раскинутую над миром, чтобы ни одна душа не ускользнула из-под нее.

Пьер только теперь, перед картой, ясно представил себе всю эту машину, работающую уже много веков и созданную для поглощения всего человечества. Богато одаренная попами, располагающая значительным бюджетом пропаганда казалась Пьеру совершенно самостоятельной силой, как папство в папстве; он понял теперь смысл прозвища, данного префекту конгрегации: «красный папа». Какой в самом деле беспредельной властью должен обладать он, завоеватель и властитель, чьи руки простираются с одного конца мира до другого? Если кардиналу секретарю¹ подведомственна центральная Европа — ничтожная частица земного шара, то не отдано ли власти этого красного папы все остальное, все бесконечное пространство, все еще неведомые далекие страны? Далее цифры, представленные на карте, указывали, что Рим бесспорно владычествует только над двумястами миллионами с небольшим католиками, принадлежащими к римской апостольской церкви, между тем как число неподчиненных ее владычеству христиан, — принадлежащих к восточной церкви и к протестантству, если сложить их вместе, уже превосходит количество католиков. И какой огромный шаг вперед прибавить к их числу миллиард неверных, кого еще надо обратить в католицизм! Пьера вдруг так поразила эта цифра, что он вздрогнул. Как! Неужели это правда? Около пяти миллионов евреев, почти двести миллионов магометан, более семисот миллионов браманистов и буддистов, не считая уже ста миллионов других язычников всех религий, в общем целый миллиард и лицом к лицу с ними только четыреста миллионов христиан, разделенных на два вечно враждующих лагеря: один за Рим, другие против Рима! Неужели возможно, что учение Христа за восемнадцать столетий не покорило и трети человечества, и что Рим, вечный, всемогущий Рим, насчитывает среди своих верноподданных лишь шестую часть всех народов? Одна спасенная душа на шесть — какая ужасная пропорция! Однако, географическая карта слишком резко доказывала это: территория римского владычества, обозначенная розовой краской, являлась ничтожной точкой в сравнении с царством других богов, с безграничным пространством, окрашенным в желтый цвет, которое пропаганде приходится покорять еще своей властью. Невольно напрашивается вопрос: сколько веков необходимо для того, чтобы исполнился обет Христа, весь мир принял его учение и общество

религиозное слилось с обществом гражданским, составляя одну религию, одно царство? В связи с этим вопросом, с колоссальной задачей, которую надо еще выполнить, какое удивление должно вызывать безмятежное спокойствие Рима, его терпеливое упрямство. Он никогда не сомневается в своей победе, не сомневается теперь, как и раньше, он вечно действует через своих епископов и миссионеров, не способен устать в борьбе, безостановочно трудясь над выполнением своей задачи, подобно бесконечно маленьким существам, создавшим мир, и безусловно уверен, что он, он один станет когда-нибудь властителем мира.

Пьеру казалось, будто он видит теперь эту вечно воющую армию там, за морями, по всем странам, подготовляющую и обеспечивающую политическую победу во имя религии. Нарсис рассказал ему, с какой тщательностью посольства в Риме должны следить за деятельностью пропаганды: миссии в дальних странах сплошь и рядом бывают могущественными орудиями национальной борьбы. Духовное владычество дает и светскую власть, покоренные души отдают и свое тело. Отсюда — непрерывная борьба, во время которой конгрегации оказывают всякое содействие миссионерам Италии и ее союзных наций, чьи победы не противоречат желаниям пропаганды. Всегда римская пропаганда с известной ревностью относилась к своей французской сопернице — пропаганде веры, находящейся в Лионе, такой же богатой, как и она, такой же могущественной и располагающей большим количеством энергичных и мужественных членов. Римская пропаганда не довольствуется значительной данью последней, она всюду, где боится ее успеха, всеми силами противодействует ей и не стесняется приносить в жертву своей ревности ее интересы.

Много раз французские миссионеры и французские религиозные ордена были изгнаны и их места занимали итальянские или немецкие священники. Пьер догадывался, что здесь в этом пыльном, мрачном кабинете, где никогда не играют радостные лучи солнца — тайный очаг политических интриг, прикрытых цивилизаторскими стремлениями религии. И снова его охватил трепет, трепет пред тем, что хорошо знаешь, но что вдруг, в один прекрасный день покажется и чудовищным и ужасным. Разве не может взволновать самых мудрых, не может заставить побледнеть самых храбрых подобная машина завоеваний и владычества, захватывающая весь мир, с упорством вечности работающая всюду и во все времена? Она не довольствуется душами, она стремится подчинить себе в будущем всех людей и если не может немедленно покорить их своей власти, то все распоряжается ими, уступает их на время другим, которые охраняют их ей. Какая грандиозная мечта — этот беззаботный Рим, спокойно ожидающий того времени, когда он поглотит двести миллионов магометан и семьсот миллионов браманистов и буддистов и соединит их в единый народ, духовным и светским властителем которого будет он во имя спасителя!

Чей-то кашель заставил Пьера обернуться, и он вздрогнул — увидел кардинала Сарно. Пьер не заметил, когда тот вошел, и чувствовал себя теперь, стоя перед картой, так, как-будто его поймали на месте преступления, занятого похищением чужой тайны. Он густо покраснел.

Кардинал пристально посмотрел на него своими тусклыми глазами, прошел к своему столу, и не говоря ни слова тяжело опустился на свое кресло. Жестом он разрешил Пьеру не целовать его руки.

— Я хотел засвидетельствовать свое почтение вашему высокопреосвященству... Вы больны, ваше высокопреосвященство?

— Нет, нет, просто мой проклятый насморк, от которого я никак не могу избавиться, обострился. Кроме того у меня теперь такая масса дел. Присядьте на минутку, господин аббат. Вы пришли повидаться со мной, значит у вас есть ко мне дело?

— Да, я позволил себе притти попросить совета у вас, ваше высокопреосвященство. Вашему высокопреосвященству известно, что я приехал в Рим защищать мою книгу, и я был бы в высшей степени счастлив, если бы вы сооблаговолили руководить мною и помочь мне своею опытностью.

Пьер вкратце изложил положение своего дела, стараясь защищать себя. Но кардинал, — Пьер заметил это, — все более и более рассеянно слушал, думал совсем о другом, перестал понимать его.

— Я не знаю ничего, я не могу ничего сделать... повторяет он. — И я никогда никому не оказываю протекции.

Однако, он сделал над собою усилие:

— Но, ведь, Нани, там. Что Нани советует вам сделать?

— Монсиньор Нани был столь любезен, что назвал мне имя докладчика, монсиньора Форнаро, и велел передать мне, чтобы я повидался с ним.

Кардинал, повидимому, удивился и точно проснулся. Глаза его слегка заблестали.

— А, вот как! вот как!.. Если Нани сделал это, у него, значит, есть на то свои основания. Пойдите, повидайтесь с монсиньором Форнаро.

Он поднялся с кресла, отпуская посетителя. Пьер с глубоким поклоном должен был поблагодарить его. Не провожая его до дверей, кардинал сейчас же снова уселся в кресло и в мертвой тишине комнаты с той минуты слышался только глухой звук его костяных пальцев, перелистывающих «дела».

Пьер послушно последовал совету кардинала. Возвращаясь на улицу Джулия, он решил пройти через площадь Навон. Но у монсиньора Форнаро слуга сказал ему, что его барин только что вышел из дома, и что надо притти утром, около десяти часов, чтобы застать его. Таким образом аббата Фромана смогли принять только на другой день утром. Пьер постарался предварительно разузнать кое-что о прелате и собрал самые существенные

сведения: он родился в Неаполе, первоначальное образование получил там же у отцов Барнабитов, закончил его в Римской семинарии, и, наконец, много лет состоял профессором в Григорианском университете. Теперь, советником нескольких конгрегаций, каноник Санта-Мария-Маджиоре, монсиньор Форнаро горел честолюбивым нетерпением поскорее сделаться каноником собора св. Петра и мечтал в будущем о назначении своем на пост секретаря консистории — кардинальскую должность, обеспечивающую и кардинальский пурпур. Замечательный богослов, он вызывал по отношению к себе один только упрек, — упрек за участие в литературных трудах, так как печатал иногда в религиозных журналах статьи, из осторожности не подписывая их. Говорили также, что он очень светский человек.

Как только Пьер передал свою визитную карточку, его немедленно приняли; быть может у него явилось бы подозрение, не ожидали ли его, если бы прием, оказанный ему не свидетельствовал о самом искреннем удивлении, — впрочем, с некоторой долей беспокойства.

— Господин аббат Фроман, господин аббат Фроман... — повторял прелат, глядя на визитную карточку, которую держал в руке. — Войдите пожалуйста... Я только что хотел отдать распоряжение не принимать никого, потому что меня ждет очень спешная работа... Но это ничего не значит, садитесь. Что побудило вас оказать мне честь своим визитом?

Он уже совершенно овладел собой, лицо его приняло наивное выражение простодушной вежливости. Пьера его вполне естественный вопрос, которого он должен был ожидать, совершенно смутил. Неужели ему следует сразу приступить к делу и сознаться в щекотливом поводе, побудившем его сделать визит монсиньору? Он почувствовал, что подобный образ действия будет самым прямым и наиболее достойным.

— Боже мой, я знаю, что мой поступок совершенно неуместен. Но мне посоветовали поступить именно так, и, мне кажется, честные люди никогда не сочтут злом искренность.

— Да кто? что? — спросил прелат, повидимому вполне простодушно, не переставая улыбаться.

— Одним словом, конгрегация цензуры, как я узнал, передала вам мою книгу — «Новый Рим» — и поручила вам рассмотреть ее. Я осмелился притти к вам: быть может, вам нужны какие-либо объяснения...

Казалось, монсиньор Форнаро не хотел слушать дальнейших объяснений. Он поднял обе свои руки к голове и отодвинулся: однако обычная вежливость не покинула его.

— Нет, нет, не говорите мне этого, не продолжайте! Вы слишком огорчили бы меня...

— Предположим, если вам угодно, будто вас обманули, потому что никто ничего не должен знать и другие не знают ничего, как и я... Ради бога, не будем говорить об этом!..

К счастью, Пьеру, заметившему тот решительный эффект, который вызывало имя асессора святейшей инквизиции, пришлось в голову ответить:

— Конечно, монсиньор, я не желаю чем бы то ни было затруднять вас, и повторяю, я никогда не позволил бы себе беспокоить вас, если бы сам монсиньор Нани не сообщил мне вашего имени и адреса.

И теперь имя монсиньора Нани немедленно же произвело желанный эффект. Однако, монсиньор Форнаро сдался с очень непринужденной ловкостью, которая всегда была свойственна ему. Он уступил, впрочем, не сразу.

— Как, значит монсиньор Нани оказался таким нескромным! Ну, я побраню его, я рассержусь!.. Да и что он знает? Ведь монсиньор не состоит членом конгрегации, ему могли дать неверные сведения... Вы скажите ему, что он ошибся, что я никакого участия в вашем деле не принимаю, — это научит его не разоблачать секретов, которых никто не решился бы обнаруживать.

Потом, с приветливым взглядом своих чудных глаз, с улыбкой на цветущих устах, он добавил:

— Послушайте, если монсиньор Нани желает этого, я с удовольствием немного побеседую с вами, дорогой господин Фроман, — но вот мое условие: вы ничего не будете знать от меня лично ни по поводу моего доклада, ни о том, что могло произойти или, что могло быть сказано в конгрегации.

Пьер улыбнулся в свою очередь. Его поразило, как все легко устраивается, как соблюдены формальности. И он принялся еще раз излагать свое дело, рассказал о том удивлении, какое вызвал в нем процесс по поводу его книги, объяснил ему свое полное неведение тех ее «пороков», которых он искал и не мог найти.

— Конечно, конечно, — повторял прелат, изумленный такой наивностью, — но конгрегация — судебное учреждение, и она может начать дело только в том случае, если ей его передадут. Против вашей книги начато следствие, потому, что относительно ее поступил донос, — вот и все.

— Да, я знаю, донос!

— Ну, да, конечно, жалобу подали три французских епископа, об именах которых я, с вашего разрешения, умолчу, и конгрегация принуждена была приступить к подробному рассмотрению вашей книги.

Пьер смотрел на него совершенно растерянный. «Жалобу подали три епископа»... но за что? с какой целью?

Потом он вспомнил о своем покровителе.

— Но ведь кардинал Бержеро написал мне одобряющее письмо и я напечатал его в качестве предисловия к моей книге. Неужели это не было достаточной гарантией для французской коллегии?

Монсиньор Форнаро с хитрым выражением лица покачал головой и потом ответил:

— Да, без сомнения письмо его высокопреосвященства — прекрасное письмо... Я полагаю однако, его высокопреосвященство сделал бы гораздо лучше и для себя, и, особенно, для вас, если бы не писал его вовсе.

И, когда аббат, удивление которого все возрастало, собирался открыть рот, желая заставить монсиньора высказаться яснее, Форнаро быстро добавил:

— Нет, нет, я ничего не знаю, я ничего не говорю... Его высокопреосвященство кардинал Бержеро — святой человек, всеми чтимый, и если он согрешил, то это — вина его доброго сердца.

Наступило молчание. Пьер почувствовал, как перед ним разверзлась пропасть. Он не смел настаивать и заговорил теперь уже с некоторой резкостью:

— Наконец, почему преследуют именно мою книгу, а не книги других авторов? Я не желаю сделаться в свою очередь доносчиком, но сколько книг я знаю, на которых Рим смотрит сквозь пальцы и которые тем не менее гораздо более опасны, чем моя.

Теперь монсиньор Форнаро, казалось, весьма охотно согласился с ним.

— Вы правы, мы прекрасно знаем, что не в наших силах наложить запрещение на все дурные книги и приходим в отчаяние от этого. Надо подумать о бесконечном количестве книг, которое вам пришлось бы прочесть. Поэтому-то, как вы видите, нам приходится запрещать худшие целыми категориями.

Он с любезностью начал развивать свою идею.

В принципе типографы не должны были бы печатать книгу, не представив ее предварительно для одобрения епископу. Но в наши дни, при громадном производстве печатен, можно понять, в каком затруднительном положении очутился бы епископ, если бы вдруг все типографы сообразовались с подобным принципом. Для исполнения обязанностей таких духовных цензоров нехватило бы ни денег, ни времени, ни людей. Поэтому-то конгрегация цензуры запрещает целыми категориями вышедшие уже или только подготовленные к печати книги, не рассматривая их. К таким категориям относятся книги: прежде всего опасные для нравственности, все еретические сочинения и все романы, далее следуют переводы библии на разговорные языки, потому что священные книги не должны быть доступны толкованию первого встречного; наконец, все колдовские книги, научные сочинения по истории или философии, несогласные с догматами католицизма и книги еретиков или просто священнослужителей низших степеней, трактующие о религии. Все это установлено мудрыми законами многих пап, и исполнение этих законов служит предисловием к каталогу запрещенных книг, издаваемому конгрегацией, даже без них этот каталог, если бы был полным, возрос бы до невероятных размеров и один составил бы целую библиотеку. Перелистывая его можно

убедиться, что запрещение особенно часто накладывается на книги священников. Рим, не пытаясь разрешить слишком трудную задачу, заботится о том, чтобы тщательно наблюдать за чистотой нравов в самой церкви.

— Вы понимаете,—продолжал монсиньор Форнаро,—мы не станем создавать рекламы для целого вороха вредных книг, удаляя их особым запрещением. Их тысячи у всех народов, и у нас не хватило бы ни бумаги, ни чернил, чтобы запрещать их каждую в отдельности. Время от времени мы довольствуемся запрещением одной из них, если она подписана известным именем, делает много шума или содержит в себе слишком резкие нападения на религию. Этого вполне достаточно для напоминания миру о нашем существовании и о том, что мы защищаемся, не оставляя мертвой буквой наши права и не забывая о наших обязанностях.

— Но моя книга? — воскликнул Пьер, — почему преследуют мою книгу?

— Я вам объясню почему, насколько это для меня возможно, дорогой Фроман. Вы — священник, ваша книга имеет успех, вы выпустили ее в дешевом издании, она хорошо расходуется, я не говорю уже о замечательных литературных достоинствах ее, о пении истинной поэзии в ней, которая увлекла меня, и по поводу которой я искренне поздравляю вас... Как хотите вы, чтобы при подобных условиях, мы смотрели сквозь пальцы на сочинение, в котором вы приходите к выводу о необходимости уничтожить нашу святую религию и разрушить Рим?

Пьер с недоумением смотрел на него, совершенно пораженный.

— Разрушить Рим? великий боже! Но я мечтаю увидеть его обновленным, вечным, снова владыкой мира!

Монсиньор Форнаро не произносил ни слова и только кивал головой, вовсе не сердясь на юношеский пыл священника. Наоборот, он улыбался все более и более любезно, будто его очень забавляли и подобная наивность и подобная мечтательность... Наконец, он весело ответил:

— Продолжайте, продолжайте, не мне останавливать вас, потому что я не имею права говорить с вами обо всем этом... но светская власть, светская власть...

— Так что же светская власть? — спросил Пьер.

Снова прелат не произносил ни слова. Он подымал вверх свое милое лицо и разводил своими белыми руками.

Потом он добавил:

— Кроме того, в своей книге вы говорите о новой вере. Там ведь дважды повторяется: новая религия, новая религия... О, боже мой!

Он задвигался еще более и так рассмеялся, что Пьер, охваченный нетерпением, воскликнул:

— Я не знаю в каком духе будет ваш доклад, монсиньор, но я никогда, повторяю, не старался опровергать догматы. И, я говорю

совершенно искренно, я не хотел достигнуть своей книгой ничего иного, как возбудить лишь в людях жалость друг к другу и спасти их... Это ясно выражено во всей книге... Истинное правосудие требует, чтобы были приняты во внимание и намерения.

Монсиньор Форнаро опять стал спокоен и отечески ласков.

— О, намерения, намерения...

Он встал, отпуская посетителя.

— Будьте уверены, дорогой господин Фроман, я очень польщен вашим обращением ко мне... Конечно, я не могу сказать вам, каков будет мой доклад, — мы и так уже говорили с вами слишком много, но я должен был отказаться выслушать даже ваши объяснения. Я всегда готов сделать для вас все, что не идет вразрез с моим долгом... Я лично очень боюсь, как бы вашу книгу не осудили...

Заметив новую попытку Пьера заговорить, он добавил:

— Да, конечно!.. но ведь в конгрегации обсуждают факты, а не намерения. Всякая защита бесполезна, книга там имеется и она не изменялась с тех пор, как вы ее напечатали. Комментируйте ее, как хотите, — вы не измените все-таки ее... Поэтому то конгрегация никогда не вызывает обвиняемых и принимает от них только отречение, безусловное и краткое. Вот для вас самый лучший выход, возьмите обратно свою книгу, подчинитесь... Нет, не хотите? Это потому, что вы слишком молоды, друг мой!

Форнаро смеялся еще громче над протестующим жестом непреодолимого негодования, который вырвался у его молодого друга, как он называл Пьера.

Пьер почувствовал, что теряет окончательно почву под собой, и решил вернуться во дворец Бокканера подумать и постараться понять все, прежде чем продолжать свои дальнейшие попытки. Ему сейчас же пришло в голову порасспросить дона Виджилио; в тот же вечер, очень кстати для него, он встретил секретаря в коридоре со свечей в руке, в то время, когда тот шел спать.

— Я хотел бы о многом поговорить с вами! Прошу вас, дорогой аббат, зайдите ко мне на минутку.

— Вот мы и здесь! — прошептал дон Виджилио, когда дверь была закрыта. — И если, вам угодно уйдем из этой комнаты в вашу спальню. Две стены все-таки лучше, чем одна.

Наконец, когда лампа была поставлена на стол, и оба они сели в унылой комнате с желтовато-серыми обоями, с разрозненной мебелью, неприкрытым полом и голыми стенками, что, все вместе придавало ей тот меланхолический вид, который свойственен старым полинявшим вещам, Пьер заметил совершенно необыкновенное лихорадочное состояние аббата.

Его тщедушное тело дрожало и никогда еще на его жалком лице, желтом и истощенном, блещущие глаза не пылали таким зловещим огоньком.

— Не больны ли вы? Я не хочу утомлять вас.

— Не болен ли? О, да! Мое тело горит. Но, напротив, я хочу говорить... Я не могу больше, не могу больше! Наконец, надо же когда-нибудь облегчить свою душу.

Не хотел ли он отвлечь своих мыслей от болезни? Не хотел ли нарушить долгое молчание, чтобы не умереть, задыхаясь от него? Сейчас же дон Виджиллио заставил Пьера рассказать ему о попытках последних дней и взволновался еще больше, когда узнал о приемах оказанных Фроману кардиналом Сарно и монсиньором Форнаро.

— Отлично, нечего сказать! Меня уже ничто не удивляет и все-таки я возмущаюсь из-за вас! Это не касается меня, и однако доводит до болезненного состояния, потому что ваши неудачи воскрешают во мне мои собственные! На кардинала Сарно не стоит обращать внимания, он живет совсем особой жизнью, далеко отсюда и никогда никому не помог. Но Форнаро, Форнаро!

— Он показался мне очень любезным и скорее доброжелательным, и, я думаю, после нашего свидания он действительно смягчит свой доклад.

— Он? Да чем любезнее он с вами, тем тяжелее будет его обвинение. Он проглотит вас и разжиреет от этой легко добытой добычи. О, вы не знаете его! Такой симпатичный с виду, он всегда настороже, — чтобы на несчастях жалких люлишек, чья гибель как ему известно должна быть приятна влиятельным лицам, построить свою карьеру!.. О, если бы я мог рассказать вам все, если бы я мог показать вам отвратительную изнанку этого мирка! Сколько там чудовищного честолубия, сколько мерзких комбинаций, интриг, продажности, подлости, предательства, преступлений даже!

Видя дона Виджиллио таким возбужденным, таким пылающим злобою, Пьер подумал, нельзя ли будет теперь попытаться у него то, чего до сих пор он никак не мог узнать от скромного секретаря.

— Скажите мне только, где находится мое дело? Когда я приехал сюда и спрашивал вас, вы ответили мне: ни одна бумага не поступила еще к кардиналу. Но теперь уже «дело» составлено, мы должны все знать, не правда ли? И, кстати, монсиньор Форнаро говорил мне о трех французских епископах, будто бы сделавших донос на мою книгу и потребовавших преследования ее. Три епископа! Возможно ли это?

Дон Виджиллио резко пожал плечами.

— О, вы очень простодушны! Вот я так удивляюсь, что их было всего только трое... Да, несколько бумаг вашего дела в наших руках и об остальном я давно догадываюсь. Трое епископов — это: прежде всего епископ в Тарбе, выполняющий мщение отцов Лурда, — потом епископы в Пуатье и в Эврэ, оба известные своей непоколебимой реакционностью и старые противники

кардинала Бержеро. На последнего, как вы знаете, косо смотрят в Ватикане, где его галликанские идеи и широкий либеральный ум возбуждают настоящее бешенство... И не ищите каких-либо причин: все дело в доносах, в мщении, которого требуют всемогущие отцы Лурда от святого отца — папы, не говоря уже о желании нанести при помощи книги удар кардиналу, неосторожно написавшему вам одобрительное письмо, которое вы напечатали вместо предисловия... Давно уже приговоры конгрегации цензуры являются часто для служителей церкви только ударами дубины, которыми они обмениваются под покровом тьмы. Донос там царит полновластно, а за ним полный произвол. Я мог бы рассказать вам о невероятных фактах среди сотни других таких же, чтобы убить идею или человека; через автора они всегда целят в кого-нибудь, кто стоит и дальше и выше. Там такое гнездо интриг, такой могучий источник злоупотреблений, удовлетворяющий самым низким личным чувствам, что учреждение цензуры рушится и что даже здесь около папы, сознают безусловную необходимость наново регламентировать его, чтобы не допустить окончательной утраты доверия к нему... Упорно стремиться удерживать за собой мировую власть, управлять при помощи всех средств,—о, я понимаю это конечно! Но еще надо, чтобы эти средства были допустимы, не возмущали своей наглой несправедливостью и чтобы их старческое ребячество не вызывало улыбок.

Пьер слушал, и сердце его сжималось болезненным удивлением. Без сомнения, с тех пор как он находился в Риме и видел, с каким уважением относятся к отцам Лурда и какой они внушают страх к себе, являясь хозяевами в виде крупной дани, посылаемой ими на увеличение лепты св. Петра, он догадывался, что ему придется расплачиваться за каждую страницу своей книги, где он доказывал всю несправедливость поборов в Лурде,—ужасное явление, колеблющее веру и вечная причина ожесточенной борьбы, которая исчезла бы в истинно христианском обществе будущего. Вместе с тем Пьер понял теперь, какой скандал должны были вызвать и его ясно выраженная радость по поводу падения светской власти духовенства, и, особенно, его злосчастное слово «новая» религия; одного этого слова уже вполне достаточно было, чтобы дать оружие в руки доносчиков. Однако, его поражало и приводило в отчаяние то, что письмо кардинала Бержеро, как он узнал, вменяется последнему в преступление и его книга послужила доносчикам и осуждена лишь как оружие для того, чтобы из-за нее нанести удар открыто. Мысль о том, что он может огорчить святого человека, может послужить помехой в его пламенной благотворительности, была для Пьера очень жестокой. И какой ужас найти в глубине всех этих распрей самые отвратительные побуждения тщеславия и сребролюбия, суетности и возделений, самого хищного эгоизма! И это все—там, где должна царить лишь любовь к бедным!

Глубокая тишина царила в комнате, и Пьер, взволнованный своими думами, сделал жест, полный отчаяния, глядя на безмолвно сидящего перед ним дона Виджилио. Несколько минут оба молчали среди мертвой неподвижности старого, теперь уснувшего дворца, в запертой комнате, освещенной ровным светом лампы. Наконец, дон Виджилио нагнулся и с лихорадочной дрожью в голосе, с пылающим взором тихо произнес:

— Знаете, в сущности, это они, всегда они.

Пьер не понял, удивился и его встревожили даже неимеющие смысла слова аббата, которые тот произнес без всякого подходящего перехода.

— Кто они?

— Иезуиты!

И в этом восклицании тщедушного, похудевшего и пожелтевшего священника выразился весь пыл его негодования. О, тем лучше, если он сделал новую глупость! Слово наконец-то произнесено! И все же он еще раз с испугом и недоверием окинул взором стены комнаты, а затем заговорил снова, изливая долго сию душу. Слова полились неудержимым потоком; чем больше он сдерживал себя до сих пор, тем настойчивее говорила теперь в нем потребность дать волю своему негодованию!

— О, иезуиты, иезуиты!.. Вы думаете, будто знаете их, а между тем вы даже не подозреваете, какими отвратительными фактами полна их деятельность, и какой могущественной властью обладают они. Иезуиты овладели всем, они—везде, всегда. Если вы перестанете понимать, что происходит вокруг вас, — вспомните о них. Когда вас огорчат, когда с вами случится несчастье и вы будете страдать и плакать, тогда подумайте: «это они, это они». Я не уверен, нет ли одного из них вот здесь, под кроватью, или там в шкафу... О, иезуиты, иезуиты! Они уже заели меня, едят и теперь, и, конечно, не оставят ни косточки от меня, ни куска тела!

До сих пор Пьер не верил ужасной легенде о иезуитах. Он принадлежал к поколению, которое смеялось над оборотнями и считало слишком глупым буржуазный страх пред знаменитыми «черными людьми» прячущимися в стенах, терроризирующими семьи. Все это казалось ему сказками нянек, доведенными до чрезмерных преувеличений религиозными и политическими страстями. Поэтому он с изумлением глядел на дона Виджилио и боялся, не с сумасшедшим ли имеет дело.

Однако, ему вспомнилась история иезуитов. Если Франциск Ассизский и святой Доминик — душа и разум средних веков, их учителя и воспитатели, — если один из них явился выразителем пламенной, полной милосердия веры кротких, другой — защитником догматов, творцом учения, предназначенного для интеллигентных и влиятельных, то Игнатий Лойола является на пороге новых времен, чтобы спасти мрачное наследие, которому грозит гибель; он приспособил религию к требованиям нового общества

и дал ей вновь власть над нарождающимся миром. В то время опыт казалось совершенно не удался; католическая церковь в неустанной борьбе с грехом была почти побеждена; становилось очевидным, что прежнее желание подавить природу, убить в человеке все человеческое с его стремлениями, страстями, с его сердцем и кровью, может привести лишь к ужасной катастрофе, и католическая церковь находилась тогда на краю гибели. И вот являются иезуиты, они избавляют ее от грозящей ей опасности, снова возбуждают ее деятельность и решают, что она должна снизойти к людям, если люди, повидимому, не хотят подняться до нее. Все их убеждения сводятся к этому принципу, и они объявляют, будто можно войти в компромиссы с небом, приравливаются к нравам людей, к их предрассудкам, к порокам даже; они любезны, снисходительны, в них нет и тени ригоризма; их тонкая дипломатия готова самые отвратительные явления использовать во славу господ. Их лозунг и мораль—которую впоследствии вменяли им в преступление,—все средства хороши для достижения цели, если цель—слава божия, воплощенная в славе католической церкви. И какой поразительный успех они имеют! Они размножаются, рассеиваются по всей земле и всюду являются полными хозяевами. Они исповедывают царей, приобретают несметные сокровища, обладают такой завоевательной силой, что не могут ступить на какую-нибудь землю, как бы повидимому ни скромны были их желания, без того, чтобы не овладеть в самом непродолжительном времени ею, с ее душой, с ее телом, с ее могуществом и богатством. В особенности иезуиты стараются основывать школы: они незаменимые «месители» мозгов, они понимают, что с завтрашнего дня власть будет принадлежать развивающемуся теперь поколению, и что поэтому надо всегда быть учителем этого поколения, если хочешь вечно владычествовать. Их могущество, основанное на необходимости примирения с греховностью, так сильно, что немедленно после Тридентского собора, они преобразовывают дух католицизма, проникаются этим новым духом и приравниваются к нему, становятся необходимым воинством папства, живущего ими и для них. С тех пор Рим принадлежит иезуитам, тот Рим, где их генерал так долго распоряжался, откуда так долго раздавалась его команда, проникнутая непонятной для других и гениальной тактикой, слепо выполняемая неисчислимой армией, которая охватывала весь мир железным кольцом, благодаря своей мудрой организации. Мягкие руки, опытные в деле управления бедным, страждущим человечеством, сжимали это кольцо. Но настоящим чудом во всем этом является поразительная живучесть иезуитов, выдерживающих постоянные нападки, осуждения, казни и все же не уничтоженных. Как только они закрепят власть за собой, сейчас же начинает расти и всеобщая ненависть к ним. Громкие проклятия встречают их вместе с обвинениями в самых отвратительных преступлениях и скандальными процессами, после которых они

оказываются и развратителями, и злодеями. Паскаль возбудил против них народное презрение, парламент осуждает на сожжение их книги, университеты признают ядом для нравственности их мораль и их педагогическую деятельность. Они поднимают во всех странах такие смуты, такие междоусобия, что их начинают преследовать и вскоре изгоняют отовсюду. Более столетия они кочуют, их изгоняют, а потом призывают снова; им приходится то уходить за границу государства, то опять переходить ее; они удаляются из страны при криках ненависти, чтобы вернуться, как только страсти улягутся. Наконец, орден иезуитов был уничтожен одним из пап, — их постигла конечная катастрофа, но преемник этого папы восстановил его. С тех пор они едва лишь терпимы. И в той тени, которую иезуиты осторожно окружают себя теперь, стараясь дипломатически не выступать вперед, они далеко торжествуют, попрежнему спокойны и уверены в своей победе, точно воины навсегда покорившие свою землю.

Пьер знал, что в данное время, если судить только по внешним признакам, иезуиты, повидимому, лишились в Риме всего своего былого значения. Они уже не служили в Джезу, не заведывали Римской коллегией, где им удалось перевоспитать столько душ. Не имея собственной обители в Риме, принужденные обратиться к гостеприимству чужестранцев, иезуиты скромно укрылись под сенью Германской коллегии, где имеется небольшая часовня. Там они обучали еще, отпускали грехи, но без всякого блеска, без пышности богослужения в Джезу, без победоносного успеха Римской коллегии. После всего, что было сказано дном Виджилио, не следует ли верить необыкновенной ловкости иезуитов, их умению хитро скрываться, чтобы остаться невидимыми и всемогущими владыками, их скрытой ото всех железной воле, управляющей всем. Все утверждали, будто провозглашение догмата о непогрешимости пап—дело рук иезуитов и вместе с тем то оружие, которым вооружились они сами, лишь для виду вооружая им пап, это оружие необходимо было им накануне великих социальных переворотов для выполнения уже близких и трудных задач. Быть может, это скрытое могущество иезуитов, о котором рассказывал дон Виджилио с трепетом перед его таинственностью, это управление всеми делами церкви, неведомая и абсолютная власть их в Ватикане,—далеко не вымысел.

Неясное сопоставление возникло в уме Пьера и он спросил вдруг:

— Монсиньор Нани — иезуит?

Имя монсиньора, казалось снова пробудило в доне Виджилио его полное тревоги возбуждение. Он сделал жест дрожащей рукой.

— О, монсиньор Нани слишком силен, слишком ловок, чтобы открыто сделаться иезуитом. Но он воспитывался в той Римской коллегии, где получило образование современное ему поколение, он вкисил от того гения иезуитов, который так удачно

подходит к его собственному. Если монсиньор понял всю невыгоду надеть на себя непопулярную и стесняющую рясу, то это не мешает ему быть в душе все же иезуитом; о, он иезуит не только душой, но и всем своим телом! Он глубоко убежден, что католическая церковь может одержать победу лишь в том случае, если будет пользоваться человеческими страданиями, и, несмотря на это, он любит ее вполне искренно и в глубине души очень благочестив, очень хороший священник и служит господу с должным рвением из-за той могущественной власти, которую он предоставляет своим пастырям. Кроме того, это очень любезный человек, неспособный на какую бы то ни было грубость или ложный шаг, благодаря наследственному влиянию своих предков, знатных венецианцев, глубоко сведущий, благодаря своему знакомству со светом, с которым у него сильные связи в Вене, в Париже, в тамошних нунциатурах, — он знает все, все изучил, исполняя трудные обязанности, в течение десяти лет, здесь в качестве асессора святейшей инквизиции... О, монсиньор Нани — не иезуит, которому надо скрываться, чья черная ряса вызывает недоверие, нет! Он всемогущий вершитель судеб, голова, мозг католицизма, хотя не носит никакого отличающего его от других мундира!

Слова дона Виджилио заставили Пьера призадуматься потому, что здесь уже речь шла не о людях, прячущихся за стены, не о мрачных заговорах какой-то романтической секты. Если скептический ум Пьера отрицательно относился ко всем сказкам о иезуитах, то все же он допускал, что оппортунистическая мораль их, выработанная потребностями борьбы за жизнь, могла привиться всей католической церкви и стать в ней доминирующей. Пусть совершенно исчезнут сами иезуиты, их дух переживет своих творцов, потому, что он — оружие борьбы, надежды победы, единственно возможный способ снова покорить все народы владычеству Рима. Вся борьба сводилась, в сущности, к этому стремлению религии приспособиться к требованиям современности. И Пьер понимал теперь, какой огромной, действительной силой могут обладать в данное время люди, подобные монсиньору Нани.

— О, если бы вы знали, если бы вы знали! — продолжал дон Виджилио. — Он всюду, и всюду проникает его рука. Вот, например, здесь, у Бокканера, ничто не делается без того, чтобы монсиньор Нани не оказался, по моим наблюдениям, руководителем всего, запутывающим и распутывающим узел, смотря по соображениям, известным только ему одному.

И, под влиянием сжигавшего его лихорадочного желания высказаться, он рассказал, какое деятельное участие в бракоразводном процессе Бенедетты, несомненно, принимал Монсиньор Нани. Иезуиты, несмотря на примирительный характер своей политики, всегда враждебно относятся к Италии, либо потому, что они не отчаиваются снова подчинить Рим своему вла-

дичеству, либо потому, что выжидают удобного часа, чтобы войти в соглашение с действительными победителями. Находясь с латинских времен в дружеских отношениях с донной Серафиной, Нани помог ей взять к себе назад племянницу и ускорить разрыв с Прада, как только Бенедетта похоронила свою мать. Он же желая устранить аббата Пизони, священника-патриота, духовника девушки, которого обвиняли в том, что он ускорил ее брак, убедил Бенедетту взять духовника ее тетки, иезуита Лоренца, красавца с ясными и приветливыми глазами, — исповедальню которого в часовне при Германской коллегии буквально осаждали. Казалось, подобная замена предредила исход всей истории. То, что сделал один священник для Италии, будет, несомненно, направлено другим против нее. Почему же Нани, доведя до конца разрыв между супругами, одно время, повидимому, совершенно не интересовался делом Бенедетты и даже допустил, чтобы процесс принял весьма опасный оборот для просьбы о расторжении брака? и почему теперь он снова занимался им, убедил подкупить монсиньора Пальму, заставил действовать донну Серафину и даже сам оказал давление на кардиналов и конгрегацию собора? И здесь, как и во всех делах, которыми занимался Нани, многое оставалось темным; вообще он всегда руководствовался в своей деятельности дальновидными комбинациями. Можно было думать, что он желает ускорить свадьбу Бенедетты и Дарио и тем положить конец отвратительным сплетням светского общества, обвиняющего двоюродных брата и сестру, в том что они вступили в связь и живут вместе во дворце, пользуясь снисходительностью своего дяди — кардинала. Но, может быть, и то, что весь развод, которого добивались подкупами и давлением самых влиятельных лиц, был лишь умышленно вызванным скандалом, чтобы повредить кардиналу; сначала этот скандал затигивали, теперь старались ускорить его: а иезуиты, несомненно, хотели бы отделаться от кардинала Бокканера в виду наступающих событий.

— Я вполне допускаю справедливость последнего предположения, — сказал дон Виджилио, тем более, что сегодня вечером я узнал о болезни папы. Смерть восьмидесятичетырехлетнего старца всегда может наступить совершенно неожиданно. Как только папа заболевает, хотя бы насморком, сейчас же и священная коллегия и вся прелатура взбудораживаются и немедленно вспыхивает борьба честолюбий... Иезуиты всегда противились кандидатуре кардинала Бокканера. Казалось бы, они должны поддерживать его кандидатуру, из-за его происхождения и непримиримого отношения к Италии; однако, их пугает мысль избрать себе такого главу, они находят, что он слишком суров для настоящего времени, его вера слишком пламенна, слишком непреклонна и опасна теперь, когда католическая церковь переживает период дипломатии... И я ни сколько не удивляюсь, если кардинала хотят скомпрометировать и сделать его кандидатуру

невозможной, хотя бы, путем самых позорных и коварных комбинаций.

Пьер слегка содрогнулся от страха. Неизвестность, мрачные интриги, затеянные в тени, действовали на его нервы, среди ночной тишины, в этом дворце на берегу Тибра, в Риме, полном легендарных драм. Он вдруг вспомнил о себе самом, о своем собственном деле.

— Но я почему замешан во все это? Почему монсиньор Нани мной интересуется? Каким образом принимает он участие в процессе по поводу моей книги?

Дон Виджиллио широко развел руками.

— О, здесь никогда нельзя ничего знать наверное!.. Я могу, однако, утверждать, что монсиньор Нани узнал о вашем деле, лишь после того, как донос епископов Тарба, Пуатье и Эврё находился уже в руках отца Данжелиса, секретаря цензуры; и он, как я узнал, пытался тогда же замять дело, находя его бесполезным и несоответствующим современному положению вещей. Но раз конгрегация взялась за что-нибудь, то уже нет почти возможности остановить ее, и, вдобавок, ко всему, он неминуемо должен был наткнуться на противодействие отца Данжелиса, убежденного доминиканца и страстного противника иезуитов... Тогда именно монсиньор заставил графиню написать де-ла-Шу, чтобы тот передал вам совет немедленно явиться сюда защищать себя и приглашение на время вашего пребывания здесь воспользоваться гостеприимством хозяев этого дворца.

Подобное раз'яснение окончательно поразило Пьера.

— Вы совершенно в этом уверены?

— О, да, совершенно. В один из понедельников я слышал, как он говорил о вас. Я уже предупреждал вас, что монсиньор отлично знает вас, что он точно собрал самые подробные сведения. По моему, он читал вашу книгу, и она очень заняла его.

— Так неужели вы думаете, что его взгляды сходятся с моими, что он действует вполне искренно и, защищая меня, будет отстаивать свои собственные убеждения?

— Нет, нет, о, никогда!.. Он не выносит ни ваших взглядов, ни вашей книги, ни вас самих! Надо видеть сквозь его ласковую любезность его презрение ко всему слабому, его ненависть ко всему бедному, его любовь к власти и владычеству! Он, пожалуй, простил бы вам ваши нападки на Лурд, хотя ни за что не простит вам вашей любви к малым мира сего и вашего протеста против светской власти духовенства. Если бы вы только слышали с какой бессильной яростью нападает он на де-ла-Шу, называя его элегической плакучей ивой нео-католицизма.

Пьер поднял обе руки к своим вискам и с отчаянием сжал их.

— Но, почему же, почему? скажите мне, прошу вас!.. Зачем надо было выписывать меня и держать теперь здесь, в этом доме, в своем полном распоряжении? Зачем он водит меня за нос три

месяца по Риму, наталкивает на самые разнообразные препятствия, истощивает все мои силы, раз ему так легко было заставить конгрегацию цензуры наложить запрещение на мою книгу, если только она мешает ему? Конечно, дело не обошлось бы совершенно спокойно, потому, что я решил не подчиняться и громко исповедать свою новую религию, даже вопреки решению Рима.

На желтом лице дона Виджилио зловеще заблистали черные глаза.

— А вот этого-то именно, он, весьма возможно, и не желал! Он знает, что вы очень умны и очень восторженны, и, как часто приходилось слушать, как он говорил: с умом и восторженностью никогда не следует вступать в открытую борьбу.

Пьер остановился перед аббатом. Он совершенно растерялся, страх и злоба начинали овладевать им. Ведь в самом деле, все рассказанное доном Виджилио может быть и правдой.

— Но, в таком случае, дайте мне совет! — воскликнул он. — Я потому именно и просил вас сегодня зайти ко мне, что не знал, как мне быть и сознавал всю необходимость стать на верную дорогу.

Он умолк и снова начал быстро ходить по комнате; казалось его подталкивало негодование, овладевшее им всецело.

— Или нет! не говорите мне ничего! Все кончено, я предпочитаю уехать. Подобная мысль уже приходила мне в голову, но лишь под влиянием полного упадка душевных сил, мне хотелось исчезнуть, возвратиться к мирной жизни в моем уголке. Теперь же, о, теперь, если я уеду, то уеду, как мститель, как судья. Я громко поведаю всему миру из Парижа, что я видел в Риме, во что католицизм превратил религию Христа, я расскажу о полном упадке Ватикана, о трупном запахе, исходящем от него, буду убеждать всех, кто верит нелепым образом в возрождение современного человечества при помощи этой гробницы, где похоронена вся мерзость прошлых веков. О, я не уступлю, я не подчинюсь, я буду защищать свою книгу новой книгой! И она, я ручаюсь, будет иметь успех, потому что она прозвучит, как погребальный колокол умирающего католицизма, который надо похоронить, как можно скорее, чтобы его останки не заразили весь мир.

На другой день Пьером снова овладела потребность борьбы; он хотел все испытать и повидать самого папу.

Напрасно Пьер ходил от одного прелата к другому, от священника к священнику, напрасно посещал церкви, он никак не мог привыкнуть к римскому культу, к тому ханженству, которое удивляло его, если только болезненно не отзывалось в его душе. Однажды, в дождливое воскресное утро он зашел в собор-Санта-Мария-Маджоре, и ему показалось, будто он очутился в приемной зале, правда, поразительно богато убранной,

с колоннами, и сводом античного храма, с величественным балдахином над папским алтарем, с блещущим мрамором исповедальни, с особенно роскошным приделом Боргезе, но где, тем не менее, как бы не было господ бога. В центральной части собора не стояло ни скамеек, ни стульев, и здесь вечно ходили взад и вперед, точно по вокзалу, верующие, пачкая своими грязными ногами драгоценную мозаику пола. Усталые женщины и дети уселись вокруг цоколей колонн и походили на толпу ожидающих поезда. И для всего этого народа, расхаживающего по собору, заходящего сюда мимоходом, священник служил обедню без певчих и органа в одном из боковых приделов, перед которым образовалась лишь вереница стоящих людей, узкая и длинная, перегородающая центр храма и напоминающая стоявших в очереди у касс посетителей театра.

Четырехсот церквей даже для Рима оказалось слишком много; среди них были такие, которые посещались только в известные, заранее определенные дни торжественных богослужений, многие открывали свои двери лишь раз в году: в день праздника их святого. Многие церкви были, повидимому, совершенно заброшены, предоставлены туристам да сторожам, которые производили в них свою мелочную торговлю. Точно населенные умершими божествами они напоминали собой музеи. Были и такие, которые невольно смущали верующих, как, например, Santa Maria Rotonda, помещавшаяся в Пантеоне, в круглом зале, очень похожем на цирковую арену, где святая дева, казалось, на время поселилась среди Олимпа.

Пьер продолжал свои попытки, им овладела какая-то глухая досада, не позволявшая ему сдать окончательно. Он снова делал визиты, стараясь сдержать данное им себе слово: посетить всех кардиналов конгрегации цензуры, несмотря ни на какие уколы самолюбия. Мало-по-малу ему пришлось иметь дело и с другими конгрегациями — прежними министерствами папского правительства, теперь уже менее многочисленными, но все же с необыкновенно сложным механизмом. Каждая из них имеет председателем-префектом одного из кардиналов, в заседаниях участвуют члены, тоже кардиналы, кроме того, в них принимают участие еще и прелаты — советники; для текущей работы имеется целая армия чиновников. Пьеру необходимо было и несколько раз побывать в главной канцелярии, где происходит заседания конгрегации цензуры; он совершенно заблудился там среди невероятного количества лестниц, коридоров, зал, охваченный уже у самого входа ледяным холодком старых стен. Он никак не мог заставить себя полюбить этот дворец — лучшее произведение Браманте, образец строго выдержанного стиля итальянского возрождения с его классической и холодной красотой. Еще раньше Пьер ознакомился с конгрегацией пропаганды, где его принимал кардинал Сарно. Теперь, во имя своих визитов от одного к другому, в постоянной погоне за влиятельными ли-

шим, он точно так же ознакомился и с другими подобными же учреждениями, с конгрегациями епископской и монашеской, обрядовой и соборной. Ему удалось побывать и в консистории, в кабинете директора папской канцелярии, в священной исповедальнице. Все это было огромным механизмом церковного правительства для управления всем миром, для расширения новых завоеваний, для ведения дел по вновь завоеванным странам, для обсуждения вопросов веры, для произнесения приговоров и приведения в исполнение наказаний за проступки, для отпущения грехов и продажи милостей. Нельзя себе даже представить колоссальной массы дел, каждый день поступающих в Ватикан, по поводу самых важных, самых щекотливых, самых сложных вопросов, разрешение которых вызывает бесчисленные исследования и изыскания. Поневоле приходится давать какие-либо ответы толпе посетителей, переполняющих Рим и прибывших со всех концов христианского мира; поневоле приходится отвечать на письма, прошения, «дела», целая волна которых сортируется и распределяется по соответствующим канцеляриям. Удивительнее всего, что вся эта колоссальная работа производится в скромной тишине, ни единый отзыв не долетает на улицу, суды, парламенты, фабрики святых и знатных работают совершенно бесшумно. Весь механизм так щедро смазан, что несмотря на вековую ржавчину, на порядочную изношенность и окончательную порчу некоторых частей, он продолжает идти полным ходом, спрятанный за стенами и совершенно незаметный для постороннего взгляда. Вся политика католической церкви не заключается ли в этом принципе — молчать, писать, как можно меньше и выжидать? И все-таки каким чудесным кажется уже обветшалый, но все еще могущественный механизм ее администрации! Среди всех этих конгрегаций Пьер чувствовал себя совершенно захваченным железными сетями самого неограниченного правительства, когда-либо основанного для владычества над людьми. Правда, Пьер, отлично видел все трещины, дыры, всю ветхость организации, предвещавшую ее скорую гибель, и все же он всецело принадлежал ей с тех пор, как решился обратиться к ее содействию. Он был захвачен колоссальной машиной, измят, унесен ее запутанной сетью в бесконечный лабиринт личных влияний и интриг, вечно обуреваемый суетностью и продажностью, подкупом и тщеславием, ничтожеством и величием. Как были далеки от Рима его мечты и какая отчаянная злоба овладевала им по временам, когда он чувствовал глубокую усталость и страстно желал тем не менее защищаться!

Совершенно неожиданно для Пьера выяснилось многое из того, что он раньше никак не мог понять. Однажды, во время нового посещения конгрегации пропаганды, кардинал Сарно, заговорил с ним о франк-масонстве с такой холодной злобой, что для Пьера вдруг все стало ясным. До сих пор упоминание о франк-масонстве вызывало лишь улыбку на его лице; он отно-

сился к рассказам о нем с таким же недоверием, с каким выслушивал ужасные истории о иезуитах. Он считал детскими вымыслами все нелепые слухи о них — легендарными все рассказы об этих таинственных, скрывающихся людях, неодолимое могущество которых управляет будто бы всем миром. Его особенно поражала та слепая ненависть, с какой некоторые люди говорили о масонах. Один прелат, из наиболее образованных, наиболее умных, уверял Пьера с видом глубокого убеждения, что во всех масонских ложах по меньшей мере раз в год председательствует сам дьявол в образе человеческом. Это уже прямо противоречило здравому смыслу. Теперь он понимал соперничество, ожесточенную борьбу между католической, римской церковью и той другой, противопоставленной ей. Пусть первая из них считает себя победительницей, она все же не может не видеть во второй явного конкурента, давнишнего врага, который считает себя даже более древним, чем она сама, и чья победа всегда возможна. Столкновения между ними происходят, главным образом, потому, что обе соперницы стремятся к одному и тому же — владычеству над всем миром, что обе имеют одинаковую интернациональную организацию, одинаковую сеть, разбросанную над народами и состоявшую из таинств, из догматов, из обрядов. Церковь против церкви, вера против веры, завоевание против завоевания; поэтому-то, точно два торговых дома, на одной улице один против другого, они начинают стеснять друг друга, и одной из них необходимо убить другую. Но, если католицизм и казался Пьеру совершенно одряхлевшим, если ему и, по его мнению, грозила окончательная гибель, то с другой стороны, он весьма скептически относился и к могуществу франк-масонства. Пьер расспрашивая всех, собирал различные мнения, чтобы дать себе отчет в могуществе этой силы в том Риме, где его верховные власти стоят друг против друга, где «великий мастер» и папа — оба восседают на тронах. Ему рассказали, будто последние римские князья считали для себя необходимым примкнуть к франк-масонству, чтобы сделать свою жизнь не слишком тяжелой, еще более не запутать своего невыносимого положения и не преградить своим сыновьям пути к карьере.

Но только не уступали ли они в данном случае лишь непреодолимой силе современной социальной эволюции? И не погибнет ли франк-масонство в своем собственном торжестве идей справедливости, разума и истины, которые оно так долго защищало среди мрака и насилий прошлых времен? Уже установлено, что торжество идей всегда убивает секту, пропагандирующую их, делает бесполезной и несколько странной всю ту декорацию, которой должны окружать себя сектанты, чтобы тем сильнее подействовать на воображение людей. Карбонаризм не мог пережить завоеваний политической свободы, из-за которой он боролся. Точно так же, в тот день, когда католическая церковь, выполнив свою цивилизаторскую миссию, окончательно распа-

дется, тогда же исчезнет и противопоставленная ей церковь Франк-масонства, разрешив свою освободительную задачу, в наши дни пресловутое всемогущество лож являлось бы слишком жалким завоевательным оружием, само опутанное традициями, испорченное церемониалом, вызывающее насмешки и годное лишь на то, чтобы служить средством соглашения и взаимопомощи, если бы только наука своим могучим веянием в свою очередь не увлекала людей и тем не помогала ему ниспровергать такие устарелые религии, каков католицизм.

Когда его ввели в зал монсиньора Нани, который жил во дворце, в качестве асессора инквизиции, он радостно удивился.

Большая, обращенная к югу комната, вся была залита веселыми лучами солнца. Несмотря на простоту мебели и темный цвет обивок, она была необыкновенно уютна, точно здесь жила женщина, умеющая совершенно непонятным образом придать прелесть этой суровой обстановке. Цветов не было в комнате, но тихо хорошо. Уже с порога посетителя охватывало своеобразное очарование.

Монсиньор Нани сейчас же вышел навстречу Пьеру, улыбающийся, румяный, с живыми глазами, с нежными белокурыми волосами. Протягивая обе руки, он сказал:

— О, дорогой сын мой! как любезно с вашей стороны притти навестить меня... присаживайтесь и побеседуйте с вами подружески...

Он начал расспрашивать Пьера, необыкновенно, повидимому, расположенный к нему.

— Как подвигается ваше дело? Расскажите мне все. Что вы успели сделать?

Несмотря на предостережения дона Виджилио, Пьер совершенно растроганный и побежденный видимым расположением к нему монсиньора чистосердечно рассказал ему все, ничего не упуская. Он говорил о своих посещениях кардинала Сарно, монсиньора Форнаро, отца Данжелиса; он поведал о своих обращениях ко всем влиятельным кардиналам и членам конгрегации цензуры, к великому исповеднику, к викарию римской епархии, к римскому секретарю. Он особенно долго остановился на своих хождениях от одних дверей к другим, по всему римскому духовенству, по всем конгрегациям, по всему тому пчельнику, деятельному и молчаливому, где он отбил себе ноги, где потерял свои физические силы и утомил свой мозг.

Монсиньор Нани слушал Пьера с видимым восхищением и повторял после каждого нового рассказа о мучительных странствованиях просителя:

— Но это прекрасно! Отлично! О, ваше дело подвигается! Превосходно, превосходно, оно подвигается!

Он ликовал, но сквозь его радость не пробивалось ни малейшей недоброжелательной иронии. Только пытливый взгляд его красивых глаз, казалось, пронизывал молодого священника,

чтобы узнать довел ли он его до той степени повиновения, какой он желал от него. Достаточно ли он устал, достаточно ли разочарован и ознакомлен с действительным положением вещей, чтобы возможно было, наконец, покончить с ним? Довольно ли трех месяцев пребывания в Риме, чтобы превратить сумасбродного энтузиаста, каким Пьер явился туда, в мудрого или, по крайней мере покорившегося человека?

Вдруг монсиньор Нани спросил.

— Но, мой дорогой сын, вы не говорите мне ничего о его высокопреосвященстве кардинале Сангвинетти.

— Его высокопреосвященство, как вам, монсиньор, вероятно, известно, живет теперь во Фраскати.

Тогда прелат, желая, очевидно, отложить развязку и в глубине души радуясь своей искусной дипломатии, воскликнул, подымая обе свои жирные руки к небу, с обеспокоенным видом человека, который должен сказать, что все потеряно.

— О, надо повидаться с его высокопреосвященством, надо повидаться с ним! Это решительно необходимо. Подумайте только: ведь он — председатель конгрегации цензуры! Мы можем начать действовать лишь после того, как вы побываете у него. Если вы не виделись с ним, вы, значит, ни с кем не виделись... Поезжайте, поезжайте во Фраскати, дорогой сын мой!

Пьеру оставалось откланяться.

— Я поеду, монсиньор.

Пьер приехал на вокзал Фраскати к 10 утра. К кардиналу Сангвинетти идти было еще рано, к счастью аббат встретил графа Прада и пошел с ним по дороге в гору.

Оба продолжали медленно идти по подымавшейся в гору дороге, среди кое-где разбросанных и часто еще недостроенных вилл. Когда Прада узнал, что аббат приехал во Фраскати к кардиналу Сангвинетти, он засмеялся, напоминая любезного волка, оскаливающего свои белые зубы.

Да, правда, он здесь с тех пор, как папа болен... О, вы застанете его в порядочно лихорадочном состоянии!

— Но почему?

— Да потому, что новости о здоровье папы сегодня утром не особенно-то утешительны. При моем отъезде из Рима, носились слухи, будто он провел ужасную ночь.

Невдалеке находился плохенький домишко, грозивший превратиться в развалину, и, вероятно, служивший прежде домом для священника. Когда они подошли, оттуда как раз выходил какой-то аббат, высокий, мускулистый, с грубым землистым лицом; уходя он захлопнул дверь и дважды повернул ключ в замке.

— Вот, — насмешливо сказал граф, — суб'ект, чье сердце должно учащенно биться сегодня. Он, конечно, идет к вашему кардиналу за новостями.

Пьер с удивлением смотрел на аббата.

— Я знаю его... — сказал он. — Если не ошибаюсь я видел именно его на другой день после моего приезда у кардинала Бокканера. Он тогда принес ему корзинку винных ягод и просил дать свидетельство о хорошем поведении его младшему брату, который попал в тюрьму из-за какого-то произведенного им буйства, — кажется, даже ножевой расправы; впрочем — кардинал решительно отказался выдать свидетельство.

Прада опять пошел вперед и продолжал говорить об этом священнике, Сантобоно, очевидно, интересовавшем его. Сантобоно являлся типом священника патриота, гарибальдийца.

— Он всецело отдался кардиналу Сангвинетти, — сказал Прада, — потому что видит в нем кандидата на папский престол, видит великого папу недалекого будущего, которому суждено сделать Рим единственной столицей всех народов. Конечно, дело не обходится без некоторых более низменных вожелений; так, например, он наверное рассчитывает добиться звания каноника или вообще помогать себе в горестях земной жизни, как в тот день, когда ему нужно было вывести из затруднительного положения своего брата. Здесь на каждого кардинала рассчитывают, точно на выигрышный билет в лотерею: если кардинал превратится в папу, — выиграно целое состояние... Вот почему он, как вы видите, так спешит, ему хочется поскорее знать, умрет ли Лев XIII и выиграет ли его билет вместе с Сангвинетти, надевающим тиару.

— Но разве в случае вакантности папского престола кардинал Сангвинетти имеет много шансов занять его? — спросил Пьер.

— О, очень много, очень много! Впрочем это тоже никогда нельзя предугадать. Несомненно лишь то, что он числится среди возможных кандидатов. Если бы одно желание заполучить папскую тиару было достаточно, то, конечно, Сангвинетти стал бы в будущем папой. Ведь он страстно, невероятно, желает этого, весь сгорает этим последним желанием. Он даже слишком стремится к папскому престолу и вредит себе своею страстью, что и сам сознает. Поэтому-то и должен быть готов на все в последний день борьбы. Будьте уверены, он приехал сюда, в теперешний критический момент, лишь для того, чтобы лучше руководить борьбой издала, прикрываясь желанием уйти на покой. А это всегда производит наилучшее впечатление.

С тех пор как папа заболел во второй раз, то-есть с весны, Сангвинетти живет в вечном смертном страхе, потому что прошел слух о том, будто иезуиты решили поддерживать кандидатуру кардинала Бокканера, хотя тот и недолюбливал их. Его последней комбинацией, чтобы заручиться поддержкой иезуитов, были распускаемые им через своих приближенных слухи о том, что он не только будет строго придерживаться принципа светской власти, но берется даже вернуть папскому престолу эту власть. И составилась целый проект, который передавался по секрету от одних к другим, проект несомненной победы, поражаю-

щий своими результатами, несмотря на кажущуюся в нем уступку, а именно: не запрещать католикам подавать голоса и выставлять свою кандидатуру в палату депутатов, послать туда сначала сто членов, потом двести, триста, — наконец, уничтожить савойскую монархию и учредить своего рода большую федерацию итальянских областей, во главе которой, как царственный и могущественный президент, будет стоять папа, снова овладевший Римом.

Было уже одиннадцать часов утра, когда Пьер прощался с графом, чтобы тоже пойти к кардиналу. Прада на минуту удержал его руку в своей.

— Знаете, что, если бы вы были так любезны, вы позавтракали бы вместе со мной... Хотите? Как только вы будете свободны, приходите ко мне вон в тот ресторан, видите — дом с розовым фасадом. Я через час устрою все все свои дела и буду очень рад позавтракать вдвоем.

Пьер забылся у окна виллы Сангвинетти, куда он вошел, вдруг до него совершенно неожиданно донеслись отчетливые слова какого-то разговора. Он наклонился и понял, в конце-концов, что это кардинал, стоя на соседнем балконе, разговаривал с каким-то аббатом; Пьеру видна была какая-то часть сутаны последнего. Впрочем, он сейчас же узнал в нем Сантобоно. Первым движением молодого аббата было отойти из скромности; потом то, что он услышал удержало его.

— Мы сейчас узнаем... — говорил кардинал своим густым голосом. — Я послал Эвфемиио в Рим, я верю только ему. Вот поезд, которым он должен приехать.

У Сантобоно вырвалось невольное восклицание:

— О, ваше высокопреосвященство, вы будете действовать и победите!

— Я, дорогой мой? Да что же вы хотите, чтобы я сделал? Я только отдаю себя в распоряжение моих друзей, в распоряжение тех, кто поверит мне единственно ради победы святого престола. Это они должны действовать, трудиться каждый по своей возможности, чтобы преградить путь недостойным и содействовать успеху достойных... О, если антихрист займет престол...

Слово антихрист столько раз повторенное смущало Пьера. Но вдруг он вспомнил рассказ графа: антихрист — это кардинал Бокканера.

В это время поезд подошел к вокзалу. Среди нескольких вышедших на станцию пассажиров Пьер разглядел маленького аббата. Он шел так быстро, что ряса его развевалась во все стороны. Это и был Эвфемиио, секретарь кардинала. Когда он увидел Сангвинетти на балконе, он забыл всякое достоинство и побежал, взбираясь вверх по дороге.

— А, вот и Эвфемиио! — воскликнул кардинал, вздрагивая от пугливого волнения. — Мы узнаем, мы узнаем, наконец!

Секретарь исчез в двери и необыкновенно быстро взбежал наверх, потому что Пьер почти тотчас же увидел, как он едва переводя дыхание, прошел через приемную в кабинет кардинала. Тот сошел с балкона навстречу своему вестнику; но он опять вернулся туда, расспрашивая, вставляя восклицания среди суматохи, поднятой дурными новостями.

— Так, значит, это правда, ночь была очень скверной, и его святейшество не заснул ни на минуту... Колики, вам рассказывали? Но в его годы это очень, очень опасно и может убить его в каких-нибудь два часа... А что говорят доктора?

Ответа Пьер не расслышал. Он только догадался о том, когда услышал ответ кардинала:

— О, доктора никогда ничего не знают! Впрочем, раз они ничего не хотят говорить, то значит — смерть близка... Боже мой, какое несчастье, если нельзя будет продлить жизнь, хоть на несколько дней!

— Но вы правы, мой дорогой! — воскликнул Сангвинетти, обращаясь к Сантобоно, — надо действовать ради спасения церкви... Невозможно, чтобы господь не помогал нам, — нам, кто хочет лишь ему славы. Если это понадобится в последнюю минуту, он, конечно, сразит антихриста.

Тогда Пьер впервые отчетливо услышал голос Сантобоно. Он говорил грубым голосом, точно принял дикое решение:

— О, если небо опоздает, ему помогут!

После этого уже ничего нельзя было разобрать. До Пьера доносился лишь сдавленный шопот. На балконе не было никого. Аббату Фроману снова приходилось терпеливо ждать в зале, залитой солнцем, веселой и приятно спокойной. Вдруг дверь рабочего кабинета раскрылась во всю ширь, и лакей пригласил Пьера. Он удивился, когда увидел кардинала одного; оба аббата вышли в другую дверь и потому Пьер не заметил, как они ушли.

— Садитесь, дорогой сын мой, садитесь!.. Так вы пришли из-за этого несчастного дела о вашей книге. Я очень рад, очень рад побеседовать с вами.

Кардинал тоже взял стул и поставил его у раскрытого окна, казалось, он не мог расстаться с видневшимся вдали Римом. Извиняясь за нанесенное своим визитом беспокойство, Пьер заметил, что кардинал вовсе не слушает его. Глаза Сангвинетти снова были устремлены туда, где виднелась железная добыча. Однако, он сумел сохранить вид глубокого внимания, и молодой аббат невольно поражался тем, сколько силы воли необходимо этому человеку для того, чтобы казаться таким спокойным, погруженным в дела другого, когда над ним самим проносилась страшная буря.

— Вы простите мне, ваше высокопреосвященство...

Сангвинетти улыбался, слегка кивал головой, вставляя с восхищением восклицания.

— Отлично, отлично! превосходно!.. О, я вполне согласен с вами, дорогой сын мой! Это отлично сказано... Ваши слова очевидная истина и все здравые умы — заодно с вами.

Кроме того, по словам кардинала, на него производили глубокое впечатление все поэтические места книги Пьера. Он любил выдавать себя, как и Лев XIII, вероятно, из соперничества с ним, за одного из наиболее сведущих латинистов. Особой любовью он проникся к Виргилию.

— Я знаю, я хорошо знаю вашу страничку о весне, вновь приходящей, чтобы утешить замерзнувших зимой бедняков, — о, я прочел ее трижды. Знаете ли вы, что у вас встречается масса латинских оборотов? Я отметил у вас более пятидесяти выражений, встречающихся в Эклогах. Ваша книга прелестна, поистине прелестна!

Сангвинетти был далеко не глупым человеком, и сознавал, конечно, насколько умен сидевший перед ним скромный аббат. В конце-концов он начал интересоваться не Пьером, а той пользой, какую, пожалуй, можно было бы извлечь из него. Лихорадочно отдаваясь интригам, кардинал постоянно думал о том, какую пользу для своего торжества можно извлечь из других, из созданий, посылаемых ему богом. На мгновение он отвернулся от Рима и пристально посмотрел на своего собеседника, слушая его и думая, можно ли воспользоваться им немедленно, во время теперешнего критического положения, или позже, когда он будет папой. Но аббат Фроман еще раз повторил свою ошибку: он опять высказался против светской власти папы и опять упомянул о «новой» религии, которая всегда вызывала такое неприязненное отношение к себе.

Кардинал жестом остановил его. Он улыбался попрежнему, попрежнему любезность не оставляла его, хотя в душе он принял уже окончательное, бесповоротное решение.

— Конечно, дорогой сын мой, вы правы во многом, и я часто согласен с вами, о! вполне согласен... Но только вы забываете, вероятно, что я являюсь здесь покровителем Лурда. Как же вы хотите, чтобы я высказался в вашу пользу, и, значит, против отцов Лурда, когда вы автор злополучной странички о Гроде?

Пьера поразило это обстоятельство. Он ничего не знал о нем, и никто не предупредил его. Все католические учреждения имеют в Риме своих покровителей, назначенных папой. На их обязанности лежит в случае необходимости защищать такие учреждения и быть их представителями.

— Вы очень огорчили добрых отцов, — тихо продолжал Сангвинетти, — и, право же, у нас руки совершенно связаны, мы не можем еще более огорчить их... Если бы вы только знали сколько месс заказывают они нам. Я знаю не одного бедного священника, который без них умер бы с голоду.

Осталось поклониться. Еще раз Пьеру приходилось наталкиваться на денежный вопрос, на необходимость со стороны святого

престола так или иначе обеспечить свой бюджет. Бюджет — причина рабства папы; правда, потеря Рима освободила его от забот царствования, но его вынужденная благодарность за полученную милостыню все же приковывает его к земле. Потребности так велики, что деньги царят полновластно, они — всемогущая сила, перед ними все сгибается в Риме.

Сангвинетти встал, отпуская посетителя.

— Но, сын мой, — сказал он искренно, — не отчаивайтесь. Ведь я располагаю только одним моим голосом, и я обещаю вам принять во внимание все ваши превосходные объяснения... И, кто знает? Если господь за вас, он вас спасет даже помимо наших желаний.

Это было его обычной тактикой. Он поставил себе принципом никогда никого не выводить из терпения, не отпускать его без надежды. К чему говорить Пьеру о том, что осуждение его книги — дело уже решенное и что единственным благоразумным исходом для него было бы отказаться от нее? Один только Бокканера способен на такой дикий поступок, один только он способен возбуждать против себя пылкие души, зажигая в них зависть.

Только около часу дня Пьер и граф Прада могли, наконец, позавтракать за одним из маленьких столиков того ресторана, где они назначали себе свидание. Обоих задержали их дела. Граф казался очень веселым: ему удалось весьма удачно уладить одно неприятное дело, и сам аббат, с новой надеждой в душе, забыл о всех горестях и наслаждался жизнью в этот прекрасный, последний, ясный день осени. Завтрак носил очень милый характер, среди большого светлого зала, окрашенного голубой и розовыми красками и совершенно пустого в это время года. На потолке летали нарисованные амуры, на стенах пейзажи напоминали издали римские замки. Приятелям подавали свежее кушанье, они пили вино, приготовленное в Фраскати, со жгучим вкусом, как будто прежние вулканы оставили в почве часть их пламени.

— Теперь уже половина третьего, до пяти часов у нас нет поезда в Рим, — сказал Прада, когда они окончили свой завтрак. Знаете ли, чтобы вам следовало сделать? — вернуться в Рим со мной, в коляске.

Пьер запротестовал.

— Нет, нет, благодарю вас тысячу раз! Я обедаю с одним своим другом и мне нельзя опаздывать.

— О, вы не опаздаете, наоборот! Мы выедем в три и будем в Риме раньше пяти часов... На склоне дня нет более прелестной прогулки, как эта, заход солнца, видите, будет великолепен.

Прада так настаивал, что аббат согласился, побежденный и его любезностью, и веселым расположением духа. Еще час они провели в приятной беседе о Риме, об Италии, о Франции. На несколько минут оба поднялись во Фраскати, где граф хотел еще раз повидаться с каким-то подрядчиком; когда пробило три часа,

они поехали легкой рысью, мягко покачиваясь на подушках экипажа. Действительно возвращение в Рим по необъятной равнине Кампаньи, под чистым безоблачным небом, под вечер ясного чудного осеннего дня, оказалось необыкновенно приятным.

Экипаж катился по равнине, оставляя позади Албанские горы. Направо, налево, прямо, вперед расстилалось море лугов и пашен.

Вдруг, выглянув из экипажа, граф воскликнул.

— Вот, смотрите, и наш Сантобоно своей собственной особой... Ишь! какой молодец, как шагает! Мои лошади едва могут догнать его.

Когда коляска, наконец, догнала его, Прада велел кучеру ехать тише. Он вступил в разговор с Сантобоно.

— Здравствуйте, аббат! Как поживаете?

— Отлично, граф. Благодарю вас!

— А куда вы так спешите?

— Я еду в Рим, граф.

— Как — в Рим? Так поздно?

— О, я буду там почти в одно время с вами. Я могу много ходить, а таким образом сберегаешь деньги.

Он не замедлял шагу и только повернул голову, шагая рядом с экипажем. Прада, которого развеселила встреча, потихоньку сказал Пьеру:

— Подождите, он вас позабавит.

Потом он громко добавил:

— Если вы идете в Рим, аббат, присаживайтесь к нам; у нас есть свободное местечко для вас.

Немедленно, не заставляя повторять приглашение, Сантобоно согласился.

— С удовольствием, благодарю вас!.. Это еще лучше, потому, что в экипаже не изнашиваешь ботинок.

Он уселся на передней скамеечке, отказавшись с грубоватой скромностью от места, предложенного ему Пьером, рядом с графом. Оба скутника увидели, наконец, что в руке у него была маленькая корзинка, наполненная винными ягодами, хорошо уложенными и прикрытыми листьями.

Лошади прибавили рыси, коляска катилась по отличной ровной дороге.

— Так, значит, вы шли в Рим? — снова спросил граф, желая втянуть Сантобоно в разговор.

— Да, да я хочу отнести его высокопреосвященству кардиналу Бокканера немного винных ягод, последних в сезоне. Я обещал ему.

Сантобоно поставил на колени корзинку и придерживал ее обеими руками, жирными и мускулистыми, точно нечто хрупкое и очень редкое.

— А, знаменитые винные ягоды с вашего дерева! Правда, они сладки как мед.... Но поставьте же их, не будете же вы до

самого Рима держать корзинку на коленях? Дайте мне ее, я спрячу в кузове.

Сантобоно заволновался, отказывался, ни за что не хотел расстаться с корзинкой.

— Благодарю вас, благодарю вас!.. Она вовсе не мешает мне, так очень хорошо: я уверен, по крайней мере, что с ними ничего не случится.

Пристрастие Сантобоно к фруктам его сада забавляло графа. Он толкал колено Пьера, и снова спросил:

— И кардинал любит ваши ягоды?

— О, граф, его высокопреосвященство благоволил обожать их. Прежде, когда он проводил лето в своей вилле, он не хотел есть с другого дерева. Поэтому, вы понимаете, мне ничего не стоит доставить удовольствие его высокопреосвященству, раз я знаю его вкус.

Однако, Сантобоно бросил такой подозрительный взгляд на Пьера, что граф должен был представить их друг другу.

— Господин аббат Фроман, как раз остановился во дворце Бокканера и живет там уже три месяца.

— Я знаю, я знаю,—спокойно сказал Сантобоно.—Я видел господина аббата у его высокопреосвященства однажды, когда я ходил к нему отнести ягоды. Только те не были так спелы. Эти—превосходны.

Сантобоно бросил любовный взгляд на маленькую корзинку и, казалось, еще сильнее сжал ее своими огромными загоревшими пальцами. Наступило молчание.

Коляска все катилась и катилась по необъятной равнине Кампаньи. Дорога прямо уходящая в даль, тянулась, казалось, до бесконечности. По мере того как солнце опускалось к горизонту, еще резче бросалось в глаза вечное волнение равнины: по ней пробегали то свет, то тень, то зеленовато-розовые, то серо-фиолетовые отблески.

— Маттео! — крикнул Прада своему кучеру, — остановись возле Римской остерии!

Потом, обращаясь к своим спутникам, он сказал:

— Прошу извинить меня, я хочу узнать, нет ли там свежих яиц моего отца. Он обожает их.

Они приехали и коляска остановилась.

— Послушайте, господин аббат, не хотите ли выпить стаканчик белого вина? Я знаю вы сами немного винодел, а здесь есть вино, с которым следовало бы познакомиться.

Не заставляя себя упрашивать, Сантобоно в свою очередь спокойно вышел из экипажа.

— О, я знаю его. Это вино из Марино; виноград растет там на более тощей земле, чем наши земли во Фраскати.

Сантобоно не оставил своей корзинки, взяв ее с собой, что раздразило графа.

— Послушайте, ведь она вам не нужна, оставьте же ее в коляске.

Аббат ни слова не ответил и пошел вперед. Пьер тоже решил выйти из экипажа: ему интересно было увидеть итальянскую остерию, один из тех простонародных кабачков, о которых ему много говорили.

Когда все трое очутились за столом, Прада весело наполнил стаканы, несмотря на упрасивания Пьера, который, по его собственным словам, не в состоянии пить вино между завтраком и обедом.

— Ба, ба! Вы все-таки чокнетесь с нами... Не правда ли, аббат, это вино — не дурно?.. Ну, за здоровье больного папы!

Сантобоно, одним глотком опорожнив стакан, щелкнул языком. Он очень осторожно поставил корзинку возле себя; потом снял шляпу и глубоко вздохнул. Вечер был особенно хорош, с чистым, ясным небом, необъятным, нежным, золотистым, над бесконечным морем Кампаньи, засыпавшей среди царственного покоя. Легкое дуновение ветерка, пронесившегося по временам в неподвижном воздухе, не было пропитано изысканным ароматом трав и полевых цветов.

— Боже мой, как здесь хорошо! — воскликнул совершенно очарованный Пьер. — Какое прелестное убежище вечного покоя, где можно забыть обо всем остальном мире!

Прада, тем временем окончательно опорожнил графин, снова наполнив стакан Сантобоно. Все его внимание было поглощено теперь забавным происшествием, которое пока замечал лишь он один. Прада предупредил молодого священника веселым лукавым изглядом и теперь они оба стали следить за всеми перепетиями комедии. Несколько тощих куриц бродило по желтой траве, ища кузнечиков. Одна из них, маленькая, черненькая курочка, ловкая, проворная и очень нахальная заметила корзинку с винными ягодами и смело приближалась к ней. Однако, подойдя совсем близко, она испугалась и отошла. Она вытягивала шею, поворачивала голову, сверкала своими круглыми глазками. Наконец, страстное желание победило; одна из ягод проглядывала сквозь листья. Курица, не спеша, подошла, высоко подымая свои лапки; вдруг она вытянула свою длинную шею и клонула ягоду, из которой потек сок.

Прада, довольный, как ребенок, мог, наконец, не сдерживать душившего его смеха.

— Не зевайте, аббат! Берегите ваши ягоды!

Сантобоно как раз кончал свой второй стакан, откинув голову назад, с глазами, устремленными на небо, полный блаженного довольства. Он привскочил, посмотрел и понял все, увидев черную курицу. Сантобоно пришел в невероятное бешенство, отчаянно замахал руками, ужасно ругался. Но курица в ту же минуту вто-

рочно клюнула ягоду, не выпустила уже ее и унесла, хлопая крыльями; она так спешила и так была смешна, что не только Прада, но и Пьер хохотал до слез, в то время как Сантобоно в бессильной ярости погнался было за курицей, грозя ей кулаком.

— Вот видите, я говорил вам, что надо было оставить корзинку и коляску! — сказал граф. — Не предупреди я вас, курица съела бы все.

Не отвечая, глухо произнося проклятие, аббат поставил корзинку на стол. Он снял листья, снова искусно уложил ягоды, потом опять прикрыл их листьями и успокоился, поправив беду.

Пора была схать, солнце опускалось к горизонту, ночь приближалась. Граф начал выражать нетерпение.

— Однако что же там с яйцами?

Хозяйка не показывалась, и Прада пошел разыскивать ее. Он зашел в конюшню, в каретный сарай, но ее не было нигде. Тогда граф зашел за дом, чтобы поглядеть в сарае. Здесь совершенно неожиданное обстоятельство так поразило его, что он остановился, точно вкопанный. На земле лежала черная курочка, мертвая, будто убитая молнией. Из клюва у нее сочилась еще тонкая струйка почти фиолетовой крови.

Сперва граф лишь удивился. Он нагнулся, потрогал курочку. Она была тепла, дрябла и мягка, словно тряпка. Вероятно, ее поразила солнечный удар. Но вдруг граф ужасно побледнел, истина неожиданно осенила его и заставила вздрогнуть. С быстротой молнии пред ним пронеслось воспоминание о болезни Льва XIII, о том, как Сантобоно бегал за новостями к кардиналу Сангвинетти, а затем, вот теперь едет в Рим, чтобы преподнести кардиналу Бокканера корзинку с винными ягодами. Он вспомнил и разговор по дороге из Фраяскати о возможности близкой смерти папы, о вероятном кандидате на престол, о легендарных рассказах, о ядах, еще до сих пор держащих в страхе весь Ватикан; ему казалось, будто он вновь видит аббата, сидящим в экипаже, с корзинкой на коленях, которую он охранял с отеческой заботливостью, и видит маленькую черную курочку, видит, как она клюет в корзинке и убегает с винной ягодой на клюве, и вот маленькая курочка лежит пред ним мертвая, точно сраженная громадным ударом.

Прада сразу же глубоко убедился в справедливости своего предположения. Но у него нехватило даже времени подумать, как поступить. Сзади послышалось громкое восклицание:

— А, ведь это та маленькая курочка! что с ней?

То был Пьер: пока Сантобоно усаживался в коляску он тоже захотел обойти вокруг здания, чтобы посмотреть на остатки античного водопровода в тени развесистой пинии.

Прада вздрогнул, точно его застигли на месте преступления; совсем не отдавая себе отчета, уступая какому-то инстинктивному побуждению, он сказал неправду:

— Она издохла... Представьте себе, здесь произошла целая битва. В ту минуту, когда я подходил, та вон, видите, курица бросилась на эту, чтобы отобрать у нее винную ягоду; одним ударом клюва она пробилась ей голову... Видите, кровь течет.

К чему он рассказывал это? Прада сам удивился. Быть может он хотел остаться господином положения, никого не посвящать в отвратительную тайну, и сохранить таким образом за собою право поступить по своему собственному усмотрению? В его душе сразу заговорили и стыд перед иностранцем, и личная врожденная склонность к насилию; заставлявшая его восхищаться смелостью аббата, вопреки своим принципам честного человека. И, кроме того, графу хотелось хорошенько обдумать и взвесить все с точки зрения своих собственных интересов, прежде чем притти к какому-либо определенному решению. Прада был действительно честным человеком и, конечно, он не допустит, думалось ему, отравлять людей.

Пьер, сострадательный ко всяким живым существам, смотрел на курчоку с тем чувством сожаления, какое вызывала в нем всегда внезапно прекратившаяся жизнь.

— Поспешим, поспешим! Теперь мы приедем в Рим лишь к ночи. Когда они подошли к коляске, в ней уже сидел спокойно ожидавший их Сантобоно. Он снова уселся на переднюю скамеечку, сильно опираясь спиной о козлы, ноги его были поджаты, в руках он попрежнему держал маленькую корзинку с винными ягодами, необыкновенно искусно уложенными. Сантобоно так старательно охранял корзинку, что можно было подумать, будто в руках у него какая-то редкая и хрупкая драгоценность, которой может повредить малейший толчок на дороге. Его сутана выделялась большим черным пятном. На его грубом землистом лице крестьянина, преданного своей неплодородной земле, слабо облагороженном несколькими годами занятий богословием, казалось, жили одни только глаза, темные, блестящие и полные жгучих страстей.

Когда Прада увидел его таким спокойным, он невольно вздрогнул. Как только коляска опять помчалась по прямой бесконечной дороге, граф сказал, обращаясь к Сантобоно:

— Ну-с, аббат, я надеюсь выпитое вино избавит нас от всякого злого поверия. Если бы папа поступил по-нашему, он, конечно, избавился бы от своих колик.

Прада принял решение. Он подождет, пока совсем стемнеет и тогда совершенно спокойно возьмет корзинку с ягодами и выбросит ее в яму, не произнося ни слова. Сантобоно поймет. Фроман, быть может, даже не заметит происшедшего. Впрочем пусть бы и заметил, Прада все же решил не давать никаких объяснений по поводу своего поступка. Граф совершенно успокоился, когда ему пришлось в голову выбросить корзинку в момент проезда через ворота Фруба, в нескольких километрах от Рима. В темноте, царящей под теми воротами, все произойдет совершенно незаметно.

— Мы запоздали, раньше шести мы не будем в Риме...—громко сказал граф, обращаясь к Пьеру. — Но у вас еще хватит времени переодеться и зайти к вашему другу.

Не ожидая ответа, он обратился к Сантобоно:

— Ваши ягоды опоздают.

— О,—сказал аббат,—его высокопросвященство принимает до восьми часов. Наконец, они не предназначены на сегодня. Никто не ест вишневых ягод вечером. Это — на утро.

Сантобоно опять умолк.

— На завтра утром, да, да! конечно! — повторил Прада... Право, кардинал может вполне насытиться ими, если только никто не поможет ему.

Пьер необдуманно сообщил то, что он недавно узнал:

— Без сомнения, кардинал будет кушать один; его племянник, князь Дарио, сегодня должен ехать в Неаполь: маленькое путешествие выздоравливающего после несчастного случая, продолжавшего его целый месяц в постели.

Пьер вдруг умолк, сообразив кому он говорит. Но граф заставил его смущение:

— Продолжайте, продолжайте, дорогой господин Фроман, вы несколько не заставляете меня страдать. Все это уже очень старая история... Так молодой человек уехал, говорите вы?..

— Да, если только он не отложил своего от'езда. Я не рассчитываю застать его во дворце.

Экипаж приближался к воротам Фруба. Снова воцарилось молчание, теперь еще более тяжелое, подобное непреодолимому снегу, овладевшему Кампаньей, погруженной в почную тьму. Наконец, при свете ярких звезд, показались и самые ворота: они были частью аркады Аква Феличе, под которой проходила дорога. Этот остаток древнего водопровода преграждал, казалось издали, путь своей громадой старых полуразвалившихся стен. Потом гигантская арка, черная во тьме, вырисовалась, точно раскрытые церковные ворота. Экипаж проехал среди полного мрака; колеса его стучали громче.

Когда спутники очутились по другую сторону ворот, у Сантобоно попрежнему покоилась на коленях корзинка с ягодами. Новоиспеченный Прада смотрел на нее, спрашивая себя, что внешне парализовало его руки, почему он не схватил ее, не выбросил в темноте. Ведь еще за несколько секунд до того, как они въехали под арку, он твердо решил привести в исполнение свое намерение. Он даже в последний раз взглянул на корзинку, чтобы хорошенько сообразить, какое движение ему придется сделать. Что же произошло с ним? Нерешительность все более и более овладевала им. Он не мог остановиться ни на одном решении, в глубине души чувствуя потребность подождать и прежде всего вполне удовлетворить самого себя. Чего ради он будет спешить теперь, если Дарио уехал и ягоды не будут съедены ранее завтраш-

него дня? Сегодня же вечером—думал граф, — он узнает, расторгла ли конгрегация его брак или убедится, насколько воздаваемая во имя господина справедливость неподкупна и прямодушна. Конечно, он никого не позволит отравлять, даже кардинала Бокканера, чья жизнь так мало интересовала его, но с самого момента отъезда из Фраскати не является ли корзинка Сантобоно надвигающейся судьбой? И разве сознание того, что являешься хозяином этой судьбы, от короткого зависит, позволить ли ей свершить свой смертоносный путь или не позволить, не доставляет гордого сознания своего рода всемогущества? Теперь графом овладела неприятная душевная борьба, он уже не рассуждал и сложил руки, убежденный, что бросит в ящик для писем у дверей кардинала письмо с предупреждением, прежде чем ляжет спать. И все же ему было приятно думать, что он может не сделать и этого, если это будет выгодно ему.

Прада и Пьер могли видеть, как Сантобоно подошел к дворцу Бокканера, большие старинные двери были еще раскрыты. Они видели как на мгновение его длинная, тощая фигура прорезала густую тень дверей. Потом он вошел и исчез со своей корзинкой, неся решение судьбы.

XII.

Было уже десять часов вечера, когда Пьер и Нарсис, пообедав в Римском кафе, где они засиделись, долго беседуя, пешком шли вниз по Корсо во дворец Бонджиованни. Они с трудом пробрались к двери. Один за другим непрерывной нитью, подвезжали экипажи и толпа любопытных остановилась, загружая весь тротуар до такой степени, что, несмотря на присутствие полицейских, лошади не могли продвигаться вперед.

Не одно только обычное желание полюбоваться мундирами и богатыми туалетами дам собрало эту толпу; Пьер скоро услышал, что народ пришел сюда ожидать приезда короля и королевы: они обещали посетить парадный бал, который давал князь Буонджиованни в честь обручения своей дочери Челии с лейтенантом Аттилио Сакко, сыном одного из министров его величества. Кроме того, предстоящая свадьба глубоко радовала всех, являясь счастливой развязкой романа, занимавшего весь город; внезапно вспыхнувшая любовь прелестной молодой четы, упрямая верность друг другу, победившая все препятствия при самых романических условиях, рассказы о которых передавались из уст в уста, вызывая слезы на глазах и заставляя сильнее биться сердце, — все это увеличивало число любопытных.

Пьеру роман Челии и Аттилио был известен лишь отчасти. Теперь, во время обеда, за десертом, Нарсис, в ожидании десяти часов, рассказал ему все подробности его. Ходили упорные слухи, будто князь в конце-концов уступил потому лишь, что после

одной из ужаснейших сцен боялся, чтобы Челия не убежала тайно вместе со своим возлюбленным. Она ничем подобным не грозила ему, но и ее спокойствием невинной девушки проглядывало такое отношение ко всему, не имевшему отношения к ее чувству, что князь считал ее способной на самые безумные выходки. Княгиня, его жена, совершенно безразлично относилась к роману дочери, как и подобало флегматичной, еще очень красивой англичанке. Теперь, уступая, наконец, князь руководился, вероятно, соображением, что при помощи брака дочери он сблизится с квириналом, установив в то же время в наилучших отношениях с Ватиканом. Без сомнения, этот брак казался ему ужасным позором, его гордость невыносимо страдала от необходимости породниться с каким-то Сакко. Но все же Сакко — уже министр, он продолжает быстро идти в гору, ничто не мешает ему подняться еще выше и перейти от портфеля министра земледелия к посту министра финансов, к которому он давно стремится. При родстве с ним можно рассчитывать на благоволение короля и таким образом — облегчить себе верное убежище, в случае, если бы папский престол рухнул. Наконец, и сведения, собранные относительно жениха, были вполне благоприятны; впрочем и раньше князя несколько оббуживали красота, мужественность и прямоту Аттилио. И нем, быть может, — надежда близкой славы Италии. На военной службе он, без сомнения, достигнет высокого положения. Наконец, злые языки добавляли, будто последней причиной, побуждавшей порядочно-таки скупого князя согласиться на брак дочери, была возможность наделить ее до смешного малым приданым. Князь приводило в отчаяние то обстоятельство, что ему приходится делить свое состояние на пять частей по количеству детей. Выразив свое согласие, князь решил отпраздновать помолвку таким роскошным балом, каких не дают уже в Риме. Двери распахнуты чуть ли не всему городу, королевская чета приглашена, дворец пылает огнями, как некогда в дни больших приемов.

Пьер с удивлением указал на прелата, под'ехавшего в карете.

— О, вы встретитесь там не с одним из них. Если кардиналы не рискуют приехать сюда в виду присутствия королевской четы, то прелаты, конечно, будут здесь. Ведь дворец Буондживанни — нейтральная почва, где светское и клерикальное общество могут встретиться без всякой вражды. К тому же и подобные торжества бывают не часто, а потому ими далеко не пренебрегают.

Как только они взойшли наверх, Пьер тотчас же увидел у входа в первую залу князя и княгиню Буондживанни; они стояли рядом, встречая своих гостей. Князь был блондин с легкой проседью, худой, высокого роста, со светлыми глазами, точно у северянца, которые перешли к нему, очевидно, от матери; лицо его выражало всю энергию прежнего папского военачальника. Княгиня, с небольшим круглым лицом, на вид можно было дать лет тридцать, хотя на самом деле ей уже перевалило за сорок. Она и теперь была красива. Ее спокойного, безмятежного выра-

жения лица ничто не могло смутить: княгиня обожала себя и потому всегда была счастлива.

Нарсис собирался уже представить Пьера, но Челия помешала ему. Она пошла навстречу аббату и подвела его к своим родителям.

— Господин аббат, Пьер Фроман — друг моей дорогой Бенедетты.

Пьер и хозяйка дома церемонно раскланялись. Пьера очень тронула любезность молодой девушки. Затем она сказала ему:

— Бенедетта придет со своей теткой и с Дарио. Она должна быть так счастлива сегодня! И вы увидите, как она прекрасна!

Пьер и Нарсис поздравили невесту. Но они не могли остаться подле нее, толпа прибывающих заставляла их двигаться вперед. Князю и княгине едва хватало времени любезным и непрерывным кивком головы раскланываться с гостями. Челия повела обоих друзей к Аттилио, а сама вынуждена была вернуться на свое место маленькой царицы торжества, рядом со своими родителями.

— Смотрите, — совсем тихо проговорил Нарсис: — вон Сакко против вас, этот маленький черный мужчина и эта дама в шелковом платье цвета сирени.

Пьер, которому приходилось встречать Стефану у старика Орlando, узнал ее, с ее мелкими чертами лица, расплывшимися под влиянием все возрастающей полноты. Но его особенно интересовал ее супруг, сухощавый брюнет с большими глазами на совершенно желтом лице и выдающимися подбородком и носом, подобным клюву коршуна. Сакко был похож лицом на маску кричащего и прыгающего веселого неополитанского полицинея. В действительности, он отличался таким хорошим расположением духа, что сейчас он заражал веселостью всех вокруг себя, а его недожинное красноречие, его дивный голос побеждали всех. Достаточно было видеть, как он легко покорял здесь сердца, чтобы понять причины его ошеломляющего успеха среди грубых и посредственных представителей политического мира. В истории с женитьбой своего сына Сакко, сохраняя самую утонченную деликатность, с необыкновенною ловкостью вел интриги и против Челии и даже против самого Аттилио, заявляя будто он не дает своего согласия из боязни быть обвиненным в похищении приданого и титула. Он уступил после Буондживанни, желая раньше познакомиться со взглядом на этот брак старика Орlando, чье геройское прямотушие вошло в пословицу во всей Италии; поступая таким образом он впрочем заранее был уверен в полном одобрении знаменитого героя, так как Орlando, не стесняясь, говорил всегда, что Буондживанни должны с радостью принять в свою семью его внучатного племянника, красавца с чистым сердцем, который возродит их старую истощенную кровь, когда делается отцом здоровых детей их дочери. Во всей этой истории Сакко превосходно воспользовался легендарностью имени Орlando, заставляя везде говорить о своем родстве с ним, выказывая сыновнее почтение к своему организатору родины и в то же время

совершенно искренно забывая, насколько последний презирает и ненавидит его; старик приходил в отчаяние, видя Сакко у власти, убежденный, что этот последний доведет отечество до падения и гибели, и Сакко отлично понимал это.

— О,—продолжал Нарсис, обращаясь к Пьеру,—он очень умный и практичный человек, пинки его не смущают. Кажется, подобные люди, не слишком совестливые, нужны государству, всегда оно впадает в бедствие, когда ему приходится переживать политический, финансовый и моральный кризисы. Говорят, будто этот человек, с его невозмутимым апломбом, с его изобретательным умом, с его неисчерпываемым запасом упрямства, ни перед чем не останавливающимся, совершенно овладел расположением короля. Посмотрите только, посмотрите: разве его нельзя признать за хозяина этого дворца, окруженного толпой придворных?

— А вот,—указал Нарсис:—наш добрый друг монсиньор Нани раскланивается там с женой австрийского посланника.

Как только Нани увидел аббата Фромана и его приятеля, он тотчас подошел к ним; все трое отошли к амбразуре окна, чтобы побеседовать несколько минут свободно. Прелат улыбался и, наконец, восхищен был великолепием торжества, но на лице его при виде всех этих обнаженных плеч не отражалось ничего, оно по-прежнему оставалось спокойным, точно он с сердцем, защищенным тройной броней невинности, не замечал ничего.

— А, дорогой сын мой,—обратился он к Пьеру,—как я рад видеть вас! Ну, что же вы скажете о нашем Риме, когда он устраивает торжества?

— Я в восторге, монсиньор!

Нани заговорил с особым чувством о благочестии Челли, он делал вид, будто все гости князя и княгини, по его мнению,—приверженцы Ватикана, собравшиеся сюда лишь для того, чтобы почтить последнего. Казалось, прелат не знал ничего о предстоящем прибытии короля и королевы. Потом он вдруг изменил тему разговора:

— Я думал о вас весь день, дорогой сын мой! Да, я слышал, что вы по поводу вашего дела посетили его высокопреосвященство кардинала Сангвинетти... Ну-с, как же он вас принял?

— О, в высшей степени благосклонно. Сначала он говорил мне о том, что ему неудобно помочь мне, так как он—протектор Лурда. Но, когда я собирался уходить, он выказал необыкновенную любезность и с деликатностью, очень растрогавшей меня, формально обещал свою помощь.

— Неужели? Впрочем это несколько не удивляет меня: его высокопреосвященство так добр!

— Да, монсиньор, я должен добавить, что вернулся от него полный радости и надежды. Мне кажется, теперь мой процесс наполовину выигран.

— Вполне естественно, я понимаю вас.

На лице Нани попрежнему играла тонкая улыбка, лишь слегка проникнутая такой мягкой иронией, что никто не замечал ее жала. После короткого молчания он совершенно просто добавил:

— Беда только в том, что третьего дня ваша книга была осуждена конгрегацией цензуры, специально собранной по этому вопросу ее секретарем. Послезавтра приговор будет представлен для подписи его святейшеству.

Пьер, совершенно ошеломленный, смотрел на него. Если бы старинный дворец обрушился на его голову, он не был бы так поражен. Значит, все кончено! Его путешествие в Рим, все его попытки здесь свелись к этому поражению, о котором он так неожиданно узнал на балу! И он не мог даже защищаться, потратил даром время, не зная с кем говорить, перед кем оправдываться! Злоба овладела им и он произнес с горечью вполголоса:

— О, как меня провели! Кардинал говорил мне: «Если господь за вас, он вас спасет даже помимо ваших стараний!» Да, да, я понимаю теперь: он играл словами, он желал мне поражения, чтобы я смирением своим заслужил себе царство божие... Смириться! О, я не могу, не могу еще! Мое сердце слишком полно негодования и скорби!

Нани с любопытством слушал Пьера и наблюдал за ним.

— Но, сын, мой, пока святой отец не подписал приговора, еще не все конечно... Пред вами еще завтрашний и даже послезавтрашний день. Чудо всегда возможно.

Понизив голос и отводя Пьера в сторону, он сказал в то время, как Нарсис — эстет, влюбленный в длинные шейки и девственные груди — любовался дамами:

— Послушайте, я сообщу вам нечто под большим секретом... Позднее, во время котильона, пройдите в маленький зеркальный зал. Мы там поговорим на свободе.

Пьер кивком головы согласился. Прелат скромно удалился и затерялся в толпе. В ушах у аббата шумело, он более не мог надеяться. Что возможно сделать в один день, если он даром прождал три месяца и даже не был принят папой?

— Знаете ли вы, чем все так заинтересованы? — спросил Фромана подошедший к нему монсиньор Форнаро.

— Здоровьем его святейшества? — спросил встревоженный Пьер. — Неужели положение его сегодня ухудшилось?

Прелат с удивлением посмотрел на него. Потом с некоторым нетерпением ответил:

— О, нет, нет, его святейшеству, слава богу, гораздо лучше. Все уверены в выздоровлении, никто уже не говорит о смерти... Всех дам взволновала здесь другая новость: сегодня огромным большинством голосов конгрегация Совета признала, по делу Прада, брак подлежащим расторжению.

Пьер снова взволновался. По возвращении из Фраскати, он никого не успел повидать во дворце Бокканера, и теперь боялся,

чтобы новость не оказалась вымышленной. Прелат счел нужным подтвердить еще раз переданный им слух.

— Это безусловно верно, мне передавал один из членов конгрегации.

Но вдруг он извинился и быстро отошел от них.

— Простите, вот дама, с которой я еще не виделся. Мне надо поздороваться с ней.

Монсеньор устремился к даме и начал любезничать. Не имея возможности присесть, он стоял, нагнувшись к ней, и, казалось, хотел своим галантным ухаживанием всецело окружить молодую женщину, такую свежую, полуобнаженную, смеющуюся таким звонким смехом, в то время как прелат слегка касался ее плеч своей фиолетовой шелковой небольшой пелериной.

— Вы знакомы с этой дамой, не правда ли? — спросил Пьера Нарсис. — Нет! неужели?.. Это — приятельница графа Прада, прекрасная Лизбет Кауфманн. Она родила ему прелестного мальчугана и теперь впервые появляется в свете. Она — немка, вдова, довольно хорошая художница. Многие прощаются дамам иностранных колоний, а ее любят особенно из-за той приветливой веселости, с какой она принимает своих гостей в маленьком дворце в улье принца Амедея. Подумайте только, как должна забавлять ее новость о расторжении брака.

В ту минуту Прада заметил Пьера и подошел к нему и к Нарсису, стоящим у амбразуры окна. Он обоим пожал руки. И сейчас же со свойственным ему мужеством граф сказал:

— Помните, что я говорил вам, когда вы сегодня вечером возвращались из Фраскати?.. Так вот, кажется, все кончено, они расторгли мой брак... Это так нагло, так бесстыдно, так низко, что я все еще не могу поверить.

А вы знаете другую новость, дорогой аббат? — с живостью снова заговорил граф, — вам сказали? Сюда придет графиня!

Он называл так Бенедетту по привычке, забывая, что она уже не жена его.

— Да, мне только что сказали об этом, — ответил Пьер.

Он усмолк, точно охваченный целой волной важных соображений, заставивших его задуматься. Оба приятеля продолжали беседовать. Потом, извиняясь жестом, граф ближе подошел к окну, вынул из кармана записную книжку, вырвал листок и написал карандашом, лишь немного более грубым почерком, следующие слова: «Легенда утверждает, будто иудина смоковница растет во Фраскати, смертоносная для всех, кто желает когда-либо быть папой. Не ешьте отравленных плодов ее, не давайте их ни вашим людям, ни вашим курам». Сложивши листок, он запечатал его почтовой маркой и написал: «Его высокопреосвященству кардиналу Бокканера». Когда затем граф снова положил записку в карман он вздохнул свободно и опять стал весел.

Какое-то непобедимое тяжелое чувство, неведомый страх подавляли его до сих пор. Не давая себе ясного отчета, Прада чувствовал необходимость предупредить низость. Он не мог бы сказать, что, собственно говоря, заставило его только что написать эти несколько слов тут же на месте, точно желая предотвратить величайшее несчастье. Только одна мысль не покидала его: возвращаясь с бала, он бросит записку в ящик у дверей дворца Бокканера. Теперь он успокоился.

Но среди гостей произошло еще большое волнение, когда они увидели Бенедетту сейчас же за ее тетушкой; она входила рядом с Дарио. В день расторжения брака ее спокойное безразличное отношение к тому, что скажет свет, это открытое заявление о победе их любви, которую они торжествовали теперь перед всеми, отзывались такою прекрасною смелостью, таким мужеством молодости и надежды, что им тотчас же простили их «дерзость» под всеобщий восторженный шопот. Как Челия и Аттилио, так и они теперь привлекли все сердца блеском озарявшей их красоты, редким счастьем, точно ореолом, окружавшим их лица. Несколько бледный, еще не вполне оправившийся после болезни Дарио, тонкий, изящный, с прекрасными светлыми глазами большого ребенка, с темной вьющейся бородой молодого бога, обладал грациозной гордой осанкой, переданной ему его предками — князьями Бокканера. Молочной белизны личико спокойной, сдержанной Бенедетты, под шлемом черных волос, было озарено улыбкой, которая преображала ее, придавала прелесть цветка ее несколько полному роту, наполняла небесной лазурью бесконечную глубь ее непроницаемых глаз.

— О, — тихо проговорил Пьер, охваченный восторгом, — как она счастлива, и как прекрасна!

Пьер тотчас же пожалел о том, что высказал свою мысль. Он услышал рядом с собой чье-то глухое невольное проклятие, напоминавшее ему о присутствии графа. Тот, впрочем, сдержал готовый сорваться с его уст крик боли от раскрывшейся вдруг раны. Он даже заставил себя грубо сострить:

— Однако, у них обоих не мало самоуверенности; так и кажется, что их тут же поженят и уложат в кровать.

Но он в ту же минуту пожалел об этой грубой шутке выразившей все муки его страдания неудовлетворенной страсти, и захотел выказать все равнодушие.

— Действительно, она очень красива сегодня. Вы знаете у нее самые прекрасные плечи во всем мире, и для меня просто удивительно, что, скрывая их, она кажется еще прелестнее.

Он продолжал говорить с совершенно равнодушным видом, подробно рассказывая о той, кого он упорно продолжал называть графиней. Однако, Прада отошел несколько глубже в амбразуру окна из боязни, вероятно, не выдать себя бледностью и болезненным подергиванием губ. Он не был в состоянии бороться, не был в состоянии казаться веселым и вполне сохраняющим свое до-

стоимостью лицом к лицу с радостью парочки, наивно выказываемой ей.

Толпа гостей разлучила Пьера с графом и оттеснила аббата и обоих нареченным, попрежнему нежно беседовавшим, парочкам. Челия узнала его и подозвала едва заметным дружеским жестом. Она была в восторге от Бенедетты и в экстазе своего культа красоты складывала перед ней, точно пред мадонной, свои маленькие ручки, белые, как лилия.

— О, господин аббат, сделайте мне одолжение, скажите ей, ведь она красива... О! красивее всего, что только есть прекрасного в мире, красивее солнца, луны и звезд!... Если бы ты знала, дорогая моя, в какую дрожь бросает меня, когда я вижу тебя такой прекрасной, прекрасной как счастье, как любовь!

Бенедетта рассмеялась; оба молодых человека улыбались.

— Ты так же красива, дорогая моя, как и я. Мы счастливы и потому мы красивые.

Челия тихо повторила:

— Да, да счастливы. Помнишь ли, однажды вечером ты говорила мне: нельзя поженить короля и папу? Аттилио и я, мы их женим и все же так счастливы!

— Но мы с Дарио не женим их, о нет! — весело воскликнула Бенедетта. — Да, да ты ответила мне в тот вечер: достаточно любить друг друга и можно спасти весь мир!

Когда Пьеру удалось, наконец, пробраться к дверям, зала древностей, где был устроен буфет, он застал там графа. Прада стоял неподвижный, точно пригвожденный к месту, и продолжал глядеть на то, от чего он не спасался бегством. Он поневоле обернулся и смотрел, смотрел опять. Таким образом он увидел возобновление танцев — первую фигуру кадрили, которую оркестр разыгрывал во всю мощь своих духовых инструментов. Бенедетта с Дарио и Челия с Аттилио танцевали *vis-à-vis*. Обе молодые, счастливые парочки, танцовавшие среди яркого света, окруженные роскошью и ароматом любви, так прекрасны были, что ими заинтересовались король и королева и подошли к ним. Раздалось восторженное браво, бесконечною нежностью прошептались все сердца.

— Я умираю от жажды! — идем повторил Прада, сумевший, наконец, заставить себя оторваться от своей пытки.

Он велел подать себе стакан лимонаду со льдом и одним глотком выпил его с жадным видом человека, который никогда не в силах будет погасить внутренний огонь, сжигающий его.

У одного из столиков в буфете Пьер заметил Нарсиса, сидевшего с какой-то молодой женщиной; Прада подошел к ним, он узнал в молодой женщине Лизбет.

— Как видите, вы застали меня в прекрасном обществе: — обязательно проговорил аташе при посольстве. — Мы потеряли друг друга, и я с величайшим удовольствием предложил руку госпоже Кауфманн, чтобы проводить ее сюда.

Прада велел подать себе замороженного кофе, которое пил медленно маленькой золоченой ложечкой.

— Я тоже, — сказал граф, умираю от жажды, я никак не могу утолить ее... Вы принимаете нас в ваше общество, не правда ли?... Это кофе, быть может, несколько успокоит меня... А, позвольте мне представить вам господина аббата Фромана, молодого французского священника, одного из наиболее выдающихся.

Все четверо долго сидели в буфете, беседуя и слегка критикуя проходивших гостей. Но Прада все же остался озабоченным, несмотря на привычную любезность по отношению к Лизбетте; по временам он забывал о ней и отдавался своему страданию; глаза его невольно обращались к соседней картинной галлерее, откуда доносились звуки музыки и шум танцев.

— Однако, друг мой, о чем вы это думаете? — нежно спросила Лизбетт, видя его на минуту побледневшим, забывшимся. — Вы, может быть, нездоровы?

Прада не ответил ей; он вдруг сказал:

— Посмотрите, посмотрите, вот истинно супружеская палочка, вот любовь и счастье!

Едва заметным жестом граф указал на маркизу Монтефиори, мать Дарио, и ее второго мужа — Жюля Лапорт, прежде сержанта швейцарской гвардии; он был моложе своей жены на пятнадцать лет. Она покорила его на Корсо своими пламенными и все еще прелестными глазами и сделала его маркизом Монтефиори, чтобы всецело овладеть им. На балах и вечерах маркиза, ни на шаг не отпускала своего мужа, вопреки обычаю всегда ходила с ним под руку, даже в буфет всегда приходила с ним, так она была счастлива показывать его всем, и так гордилась этим красивым малым. Оба, стоя, пили шампанское, ели сэндвичи, она — прекрасная еще, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, сияя несколько грузной красотой, он — с гордой осанкой, с развевающимися усами, с видом счастливого авантюриста, чья грубоватая веселость нравилась дамам.

— Знаете, — тихо заговорил граф, — ей пришлось избавить его от очень грязной истории. Да, он занимался и торговлей мощами, поставляя их бельгийским и французским монастырям, что давало ему известный доход... Таким образом ему удалось спустить однажды целую партию поддельных мощей. Здешние евреи изготовляли маленькие старинные раки, и вкладывали кусочки бараньих костей, раки удостоверялись печатями и подписями самых авторитетных властей. Все это дело, в котором, кроме него, было замешано и трое прелатов, удалось замять... О, счастливый человек! Посмотрите только как она ест его глазами! А он, каким важным сановником держит он перед ней тарелку, с которой она ест кусочек белого куриного мяса.

Ночь надвигалась. Пьер снова впал в прежнюю озабоченную задумчивость; вдруг до слуха его долетел разговор какой-то проходившей дамы, которая сказала, что уже танцуют котильон.

Действительно, издали доносились звуки оркестра, и аббат остановился тогда о свидании, назначенном ему монсиньором Нани в маленьком зеркальном зале.

— Вы совсем уходите? — с живостью спросил Прада, когда увидел, что аббат поклонился Лизбетт.

— Нет еще...

— Прекрасно, в таком случае не уходите без меня. Мне хочется пройтись, я провожу вас... Хорошо? вы застанете меня здесь.

Пьер тотчас же увидел монсиньора Нани, с усталым видом сидевшего на низеньком диванчике; котильон привлек всех гостей в картинную галлерею, и монсиньор, как Пьер и надеялся, сидел совершенно один. Глубокая тишина царила в маленьком зале, едва слышно доносились замирающие звуки оркестра, подобные чуть слышным трелям флейты.

Аббат извинился за то, что опоздал.

— Нет, нет, дорогой мой, — со всегда присущей ему любезностью сказал Нани, — мне тут было очень хорошо... Когда давеча стала слишком чувствительной, я скрылся сюда.

— Послушайте, сын мой, — снова заговорил прелат, — дело идет теперь о вас... Я сказал уже вам: если конгрегация цензуры одобрила вашу книгу, ее решение будет представлено на усмотрение его святейшества и подписано им не раньше, чем послезавтра. Итак, перед вами еще целый день.

Пьер с болезненной живостью невольно прервал его:

— Но что же я могу сделать? я много думал, но я не вижу случая и возможности защищаться... Как я могу повидаться с его святейшеством, если он болен?

— О, болен, болен! — тихо проговорил Нани, — его святейшеству гораздо лучше: сегодня, как и всегда по средам, я имел честь быть принятым им. Когда он чувствует усталость, и все начинают говорить о его серьезной болезни, он не опровергает ложных слухов: это дает ему и отдых и возможность осмотреться, убедиться в честолюбивых замыслах и нетерпеливых ожиданиях известных лиц.

Пьер был, однако, слишком взволнован, чтобы слушать внимательно. Он продолжал развивать свою мысль.

— Нет, все кончено, я пришел в отчаяние! Вы говорили мне о возможности чуда — я не верю в чудеса. Меня разбили в Риме и потому я уеду, вернусь в Париж и там буду продолжать борьбу... Да, моя душа не может покориться, моя надежда спасения не может умереть, и я отвечу новой книгой, я скажу, на какой новой почве должна произрасти новая вера!

Несколько минут оба молчали. Нани смотрел на аббата своими светлыми глазами с необыкновенно умным, проницательным выражением. Среди глубокой тишины, в воздухе, тяжелом и теплом, маленького зала, зеркала которого до бесконечности отражали огонь свечей, пронеслось несколько более громких нот меланхолического вальса; потом они замерли.

— Дорогой, сын мой! злоба — порок... Помните, в самом начале вашего пребывания в Риме я обещал вам, если вы напрасно будете стараться быть принятым его святейшеством, сделать попытку устроить вам аудиенцию?

Когда Нани увидел, что молодой аббат заволновался, он добавил:

— Выслушайте меня, не волнуйтесь... Его святейшеству — увы! — не всегда дают благоразумные советы. Вокруг него, к сожалению, есть люди, преданности которых иногда нехватает желательной прозорливости. Я говорил вам уже, предупреждал против всяких легкомысленных попыток... Вот почему мне хотелось еще три недели тому назад, самому преподнести вашу книгу, его святейшеству, чтобы он просмотрел ее. Я имел основания думать, что все меры были приняты, и ваша книга иначе не дошла бы до него... И вот мне поручено передать вам: его святейшество сообразовал прочесть вашу книгу и официально заявил о желании видеть вас.

Крик радости и благодарности вырвался из груди Пьера.

— О, монсиньор! О, монсиньор!

Но Нани поспешно заставили его замолчать, оглянувшись на все стороны с необыкновенно встревоженным видом, точно подозревая, что их подслушивают.

— Тс, тс!.. Это секрет. Его святейшество желает принять вас совершенно частным образом, с глазу на глаз... Послушайте, теперь два часа ночи, не правда ли? Так сегодня же ровно в девять часов вечера вы приедете в Ватикан и всюду будете спрашивать господина Сквадра. Вас везде пропустят. Наверху вас будет ожидать господин Сквадра; он проводит вас... И ни слова, пусть ни одна душа не догадывается обо всем этом!

Радость и благодарность переполняли душу Пьера. Он схватил обе нежные и пухлые руки прелата.

— О, монсиньор, как мне выразить вам всю мою благодарность? Если бы вы только знали, какое стчаяние, какое уныние овладели моей душой с той минуты, когда я почувствовал себя игрушкой в руках всех этих влиятельных высокопреосвященных, которые смеялись надо мной!.. Но вы спасете меня, я снова уверен в победе, потому, что имею, наконец, возможность припасть к стопам его святейшества, к стопам отца правды и справедливости... Он может лишь оправдать меня, меня, любящего и обожающего его и глубокого убежденного в том, что боролся за его политику, за его самые дорогие убеждения... Нет, нет, это невозможно, он не подпишет приговора, не осудит моей книги!

— Дорогой сын мой, помните, что одно только послушание велико!

Пьер, думавший теперь лишь о том, как бы поскорее уехать, почти тотчас же нашел графа Прада в оружейном зале...

— Наконец-то, вы пришли, я ждал вас. Удеремте отсюда, хотите?.. Ваш соотечественник, господин Нарсис Абер, просил

передать вам, чтобы вы его не искали. Он сошел вниз про-
молу до коляски мою приятельницу — Лизбетт Кауфманн... Я ре-
шительно нуждаюсь в свежем воздухе. Мне хочется пройтись пеш-
ком, и провожу вас до улицы Джулия.

Когда оба они одевались в передней, Прада не мог удержаться
и, олюбно смеясь, резко заметил:

— Я видел только что, как они все четверо уехали добрыми
дружками; вы хорошо сделали, что предпочли пройти пешком:
на карете все равно места для вас не было бы... Какое, однако, на-
давание со стороны донны Серафины притащиться сюда со своим
шорано, чтобы горжественно отпраздновать возвращение неверно-
ро! А та другая — молодая парочка! о сознаюсь: я не могу спокой-
но говорить о них, потому что сегодня, показываясь таким образом,
они сделали отвратительный по своей наглости и жестокости по-
ступок.

Праде несколько успокоился, но все же не переставал ирони-
зировать. Желая, вероятно, забыться, он с лихорадочной болтли-
востью говорил, то о римских женщинах, то о роскошном празд-
естве, которым он восхищался прежде, а теперь высмеивал.

Вдруг Прада умолк... Его напускное самообладание и его
болтливость исчерпали все его силы; теперь им всецело овладела
и словно парализовала всего. происходившая в нем внутренняя
борьба. Дважды уже он ощупывал свой карман, где лежала уже
написанная карандашем записка. Мысленно граф повторял четыре
строчки ее «Легенда утверждает, будто иудина смоковница растет
во Фраскати, смертоносная для всех, кто желает когда-либо быть
папой. Не ешьте отравленных плодов. ее, не давайте их ни вашим
людям, ни вашим курам». Записка попрежнему лежала в кармане,
он ощупывал ее. Прада провожал Пьера для того именно, чтобы
бросить ее в ящик для писем дворца Бокканера. Оба они продол-
жали быстро идти вперед, и через каких-нибудь десять минут за-
писка будет лежать в ящике. Ничто в мире не может помешать ему
бросить ее, потому что решение было непоколебимо. Никогда
он не совершит преступления, не допустит, чтобы отправляли лю-
дей!

Но все же ему приходилось переживать такую отвратитель-
ную пытку! Бенедетта и Дарио подняли в его душе целую бурю
ревнивой зависти. Он забывал и о Лизбетт, и о своем ребенке —
маленьком существе из его плоти, которым он так гордился.
Женщины всегда вызывали в нем вожделение самца-победителя,
он страстно увлекался лишь теми из них, кто умел сопротивлять-
ся. И вот теперь одна из них, которой он жаждал обладать и ко-
торую он купил, сделавши ее своей женой, навсегда отказалась
принадлежать ему. Своей собственной женой он никогда не обла-
дал и не будет обладать. Когда-то он готов был сжечь весь Рим,
лишь бы овладеть ею; теперь он спрашивал себя, что ему надо
сделать, чтобы помешать ей принадлежать другому.

Потом, когда Прада с Пьером вошли с улицы, чтобы пройти к улице Джулия, он вдруг увидел себя вбрасывающим записку в ящик у дверей дворца. Он стал думать о том, как все пойдет своим чередом. До утра записка пролежит в ящике. Секретарь Дон Виджилио, у которого, по строгому приказанию кардинала, спрятан ключ от ящика, рано утром сойдет вниз, найдет письмо, эт-несет его кардиналу, не позволявшему распечатывать писем кому либо другому. Ягоды будут выброшены, исчезнет возможность преступления, и все останется никому неизвестным. Ну, а если бы записки не оказалось в ящике, что произошло бы тогда? И вот Прада видел уже, как подают ягоды на стол к завтраку, в их красивой корзинке, кокетливо прикрытые листьями. Дарио уезжает в Неаполь только вечером; вместе с дядей они вдвоем, по обыкновению, садятся за стол. Оба ли они вместе, или лишь один и кто именно будет есть ягоды? Здесь видение затуманилось и снова его мысли переносились к судьбе, которую он видел олицетворенной по дороге из Фраскати. Маленькая корзинка двигается все вперед, вперед, к своей необходимой цели, и ни одна рука в мире не может остановить ее.

Улица Джулия тянулась перед ними до бесконечности, освещенная луной. Пьер будто проснулся у черного под серебристым светом дворца Бокканера. Где-то вблизи, на колокольне, пробило три часа. Аббат невольно вздрогнул, когда услышал еще раз полный ярости стон графа, в душе которого происходила ужасная борьба.

Но тот сейчас же шутливо рассмеялся, пожимая руку аббату и сказал:

— Нет, нет, я не пойду дальше... Если в такой поздний час меня увидят здесь, подумают еще чего доброго, что я опять влюбился в мою жену.

Прада закурил сигару и, не оборачиваясь, исчез в светлом сумраке лунной ночи.

VIII.

Проснувшись Пьер очень удивился, когда услышал, что пробило одиннадцать. Усталый после бала, где он так долго засиделся, аббат уснул детским сном безмятежным и счастливым. Казалось в этом сне он предчувствовал близкую радость. Как только Пьер открыл глаза, радостные солнечные лучи, падавшие через окна, наполнили его душу надеждой. Его первой мыслью было то, что сегодня в девять часов вечера он, наконец-то, увидит папу. Оставалось еще десять часов до аудиенции; чем он заполнит этот благословенный день, чистое, безоблачное небо которого точно служило ему счастливым предзнаменованием?

В доме кардинала обедали всегда в час дня и в редкие дни, когда Пьер обедал не в ресторане, его прибор стоял рядом с приборами донны Серафины и Бенедетты в маленькой столовой во

втором этаже, с окнами во двор, очень унылой. В тот же час в первом этаже в зале, залитой солнечными лучами, с окнами на двор, обедал и кардинал; его особенно радовало то обстоятельство, что вместе с ним в тот день обедал и его племянник Дарио, потому что его обычный собеседник за обедом секретарь его, дон Баттисто, раскрывал рот лишь, когда к нему обращались с уважением. Обе кухни не имели решительно ничего общего между собой, кроме общей кладовой в нижнем этаже.

Как ни тосклива была столовая второго этажа, слабо освещенная унылым зеленоватым полусветом, падавшим со двора, обед донны Серафины, Бенедетты и молодого аббата прошел все-же очень весело. Сама донна Серафина, обыкновенно очень чопорная, казалось, была охвачена необыкновенной радостью. Вероятно, она была в достаточной степени насладились еще своим торжеством накануне на балу под руку с Морано; и она первая заговорила об этом бале, расхваливая его, хотя, по ее словам, присутствие короля и королевы очень стесняло ее. Она рассказала, как ей необыкновенно ловко удалось избежать представления их величествам. Впрочем, донна Серафина надеялась, что всем известная любовь ее к Челии, которой она была крестной матерью, вполне объясняет ее присутствие в нейтральном салоне, где встретились обе власти. Все же вероятно на совести у нее было не совсем спокойно, потому что она заявила, что сейчас же после обеда думает пойти в Латикан к кардиналу статс-секретарю, поговорить с ним об одном благотворительном учреждении, в котором она состояла патронессой. Сделать подобный «покаянный» визит на другой же день после бала у Буонджованни, казалось ей прямо таки необходимым. Никогда еще донна Серафина не жаждала так и так не чаялась увидеть своего брата-кардинала на престоле святого Петра: это было бы для нее высшим торжеством, возведением на желаемую высоту ее рода, которое ее фамильная гордость считала необходимым и неизбежным. Во время последней болезни папы она дошла до того, что начала заботиться о «приданом» нового папы и хотела вышить всюду новые папские гербы.

Бенедетта не переставала шутить, смеясь над всем; о Челии и Аттилио она говорила с той страстной нежностью, какую всегда питают счастливые в своей любви женщины к другой счастливой и дружеской паре. Когда подали десерт, она с удивлением спросила лакея:

— Ну, Джакомо, а винные ягоды?

Лакей медленно, точно сонный, обернулся и смотрел на нее, ничего не понимая. Кстати, в эту минуту через комнату проходил Викторина.

— А винные ягоды, Викторина? — Почему вы их не подаете нам?

— Какие ягоды, графиня?

— А те ягоды, что я видела сегодня в кладовой. — Идя в сад, я из любопытства прошла через нее... В маленькой корзинке

лежали великолепные винные ягоды. Я удивилась, что в такое время их можно достать еще... О, я очень люблю эти ягоды. Я наслаждалась заранее мыслью, что буду есть их за обедом.

Викторина рассмеялась.

— А, графиня! Как же, знаю. Эти ягоды принес вчера высокопреосвященству священник из Фраскати, помните — тамошний настоятель. Я сама была при том, как он принес их и трижды повторил, что это подарок и что их надо подать на стол его высокопреосвященства, не снимая даже листьев... Прислуга так и сделала.

— Великолепно — с притворною злобою воскликнула Бенедетта. — Они обедают там без нас. Я думаю, можно было бы поделиться.

Донна Серафина тоже вмешалась в разговор и спросила Викторину:

— Вы, верно, говорите о том священнике, который навещал нас, когда мы жили в вилле во Фраскати?

— Да, да об аббате Сантобоно; он служит там в маленькой церкви Санта Мария дель Кампо... Когда он приходит к нам, он всегда велит доложить о себе аббату Папарелли; они, кажется, вместе учились в семинарии. И вчера вечером именно аббат Папарелли привел его к нам с его корзинкой в людскую... О, эта корзинка! Вообразите себе, несмотря на усиленные просьбы аббата, ее все же забыли бы подать сегодня к обеду его высокопреосвященства, никто не отведal бы сегодня этих ягод, но аббат Папарелли бегом спустился вниз и потом, точно священную религию, отнес корзину наверх... Правда, ягоды так нравятся его высокопреосвященству.

— Ну, сегодня мой брат не отдаст им должного. Он немного нездоров и провел ночь не совсем спокойно.

Дважды упомянутое имя Папарелли заставило призадуматься донну Серафину. Кардинальский шлейфносец с его дряблым морщинистым лицом, полный, небольшого роста, похожий на старую деву-ханжу в черной юбке, ей очень нравился с тех пор, как она заметила его необыкновенное влияние на кардинала, замаскированное чрезмерной скромностью. Он был не более, как слугою кардинала, и при том очень плохим слугою, а между тем он управлял всем; донна Серафина сознавала, что его влияние часто одерживает верх над ее собственным, что часто он разрушает созданное ею для торжества честолюбивых замыслов ее брата. Однако, хуже всего было то, что дважды она заподозрила его в том, что он наталкивает кардинала на поступки, по ее мнению, глубоко ошибочные. Впрочем, думалось ей, быть может, она сама ошибается, и во всяком случае донна Серафина отдавала полную справедливость редким достоинствам и примерному благочестию аббата.

Бенедетта попрежнему смеялась и шутила. Викторина уже ушла из столовой, и она позвала лакея.

— Послушайте, Джакомо, исполните одно мое маленькое поручение...

И, обращаясь к своей тетке и к Пьеру, она добавила:

— Прошу вас, отстоимте наше право... Я их точно вижу за углом, внизу, почти под нами. Им теперь тоже, вероятно, подали десерт. Мой дядя снимает листья, с доброй улыбкой угощается и берет корзину Дарио, а тот в свою очередь — дону Виджиллио. Все трое едят с наслаждением... Вы видите их. Видите?

Бенедетте казалось, будто она действительно видела их. Для нее всегда была потребность быть вместе с Дарио, она всегда говорила о нем, и вот теперь он рисовался ее воображению в обществе кардинала и аббата. Ее сердце стремилось к ним, ее душа летела вниз, она слышала их, она была вместе с ними.

— Джакомо, вы сойдете вниз и скажете его высокопреосвященству, что мы умираем от желания попробовать его винных ягод и что он был бы очень любезен, если бы прислал нам те из них, которые он не с'ест.

Но донна Серафина снова строго заметила:

— Джакомо, не смейте.

И, обращаясь к племяннице, добавила:

— Ну, полно дурачиться... Мне не нравятся все эти ребяческие шутки.

— О, тетя, — прошептала Бенедетта, — я так счастлива, я так давно уже не смеялась от всего сердца.

Пьер до сих пор все время лишь слушал, радуясь ее веселому настроению. А когда наступило молчание, он заговорил о том, как удивился, увидевши вчера, в такое позднее время года, фрукты знаменитой смоковнице во Фраскати. Это зависело, вероятно, от преимуществ того места, где росло это дерево, защищенное высокими стенами.

— А, вы видели знаменитую смоковницу? — спросила Бенедетта.

— Да, я даже ехал вместе с ягодами, возбуждавшими ваш аппетит.

— Как так — ехали с ягодами?

Пьер пожалел о сорвавшихся с его уст слов, но предпочел тем не менее рассказать все.

— Я встретил во Фраскати одно лицо, которое приехало туда в коляске и хотело непременно отвезти меня в Рим. По дороге мы выбрали аббата Сантобоно; он шел пешком, очень веселый и жизнерадостный, со своей корзинкой... Мы даже останавливались на несколько минут в каком-то трактирчике.

Пьер подробно рассказал, как они возвращались в город, и какое живое впечатление произвела на него римская Кампанья, окутанная сумерками. Бенедетта пристально смотрела на него; она догадывалась обо всем, хорошо осведомленная о частых по-

ездках Прада во Фраскати, где находились его земельные участки и возводимые им постройки.

— Одно лицо, одно лицо... — прошептала она, — это граф, не правда ли.

— Да, сударыня, это был граф, — просто ответил Пьер. — Я видел его и сегодня ночью, он был ужасно взволнован... надо пожалеть его.

Обеих женщин замечание Пьера нисколько не обидело, так как оно было сделано просто и искренно и вызвано избытком любви его ко всему в мире. Донна Серафина сидела неподвижно, точно хотела показать, будто она ничего не слышала; Бенедетта движением руки желала, казалось, сказать, что ей незачем выражать ни ненависти, ни сострадания к человеку, ставшему для нее совершенно чужим. Однако, она уже не смеялась; потом, возвращаясь к корзинке, совершившей путешествие в экипаже Прада, она проговорила:

— А теперь мне уже совсем не хочется этих ягод, — я предпочитаю не есть их.

Тотчас же после завтрака донна Серафина оставила их, спеша надеть шляпу и отправиться в Ватикан. Бенедетта и Пьер остались одни и продолжали еще некоторое время сидеть за столом; снова веселые, они болтали, как добрые приятели. Аббат говорил о предстоящей ему вечером аудиенции, о его радостном нетерпении. Теперь только два часа, надо ждать еще целых семь часов: что ему делать, чем заполнить бесконечный день. Тогда Бенедетте пришла в голову очень милая мысль:

— Вы не знаете, что делать. Так вот — мы все очень довольны сегодня и нам не следует расставаться. У Дарио есть свой экипаж. Как и мы, он уже, вероятно, кончил свой завтрак. Я пошлю сказать ему, чтобы он зашел за нами: мы вместе совершим большую прогулку вдоль Тибра, поедem далеко, далеко...

Она хлопала в ладоши, довольная своим проектом. Как раз в ту же минуту в комнату вошел очень взволнованный дон Виджилио.

— Княжны нет здесь?

— Нет, тетя уехала... Что случилось.

— Меня послал его высокопреосвященство... Князь почувствовал себя плохо, вставая от стола... О, нет, конечно, никакой опасности.

У Бенедетты вырвался крик скорее от удивления, чем от испуга.

— Как, Дарио! Так мы все пойдем к нему. Пойдемте, господин аббат. Он не должен болеть; это расстроит нашу поездку.

На лестнице она встретила Викторину и заставила ее тоже сойти вниз к Дарио.

— Дарио нездоров, ты можешь понадобиться.

Все четверо вошли в просторную комнату, обставленную простой и старинной мебелью, где молодой князь провел уже дол-

гий месяц, прикованный к постели своей раной в плече. Чтобы попасть в эту комнату, надо было пройти небольшую гостиную; рядом с гостиной была уборная князя, далее коридор соединял его комнаты с апартаментами кардинала: столовой, спальни, рабочим кабинетом, очень небольшими, переделанными с помощью перегородок из одного большого зала. В коридоре были еще двери и маленькую часовню — скромную, почти пустую комнату с алтарем из расписанного дерева, без ковра, без стульев; чтобы молиться, приходилось преклонить колени на твердый и холодный пол.

Бенедетта сейчас же побежала к кровати, на которой лежал одетый Дарио. Возле него, с отеческой заботливостью, стоял кардинал. Старик начинал уже серьезно беспокоиться, но все же не согнулся под бременем мучившего его предчувствия и попрежнему оставался спокойным, как человек с сильной и непорочной душой.

— Что такое. Что с тобой Дарио.

Желая успокоить Бенедетту, князь улыбнулся ей в ответ. Он был очень бледен и казался опьяневшим.

— О, нет ничего опасного... Просто, головокружение... представь себе, мне кажется, будто я выпил... У меня вдруг помутилось в глазах и я боялся упасть... Я едва успел дойти до кровати, чтобы повалиться на нее.

Дарио тяжело дышал, словно ему нехватало воздуха. Кардинал, в свою очередь, передал несколько подробностей случая.

— Мы спокойно кончали завтрак. Я отдавал дону Виджилио распоряжения на остальную часть дня и уже собирался встать от стола, как вдруг увидел, что Дарио поднялся и зашатался... Он не хотел снова сесть и пришел сюда неуверенными шагами, точно лунатик, открывая двери трепещущими руками. Мы шли за ним, не понимая, в чем дело. Признаться, я и теперь еще ничего не понимаю.

Беспокойным жестом по направлению к комнате, где словно промчался вихрь несчастья, кардинал, казалось, хотел выразить свое недоумение. Все двери остались широко раскрытыми. Целой анфиладой виднелись уборная, кабинет, коридор, столовая в конце его с царящим в ней, как всегда во внезапно оставленной комнате, беспорядком, с накрытым еще столом, сброшенными какнибудь салфетками, с сдвинутыми с мест стульями. Однако никто пока особенно не пугался.

Бенедетта громко высказала обычную в таких случаях мысль.

— Лишь бы вы не с'ели чего-нибудь вредного.

Кардинал слегка махнул рукой, всегда необыкновенно воздержанный в пище.

— О, яйца, бараньи котлеты, шпинат — не могут вредно подействовать на желудок. Я пью только воду, он — несколько глотков белого вина... Нет, нет, дело не в завтраке.

— Кроме того, — позволил заметить дон Виджилио, — его высокопреосвященство и я, мы тоже чувствовали бы себя нехорошо.

Дарио снова открыл свои, закрывшиеся было, глаза, опять глубоко вздохнул и сделал усилие улыбнуться.

— Ну, все это пустяки, мне уже гораздо лучше. Надо теперь двинуться.

— В таком случае, — сказала Бенедетта, — послушай, что я придумала... Ты возьмешь меня и аббата в свою коляску и повезешь нас далеко в Кампанию.

— С удовольствием. Мне очень нравится твое предложение... Викторина, помогите же мне.

Он приподнялся, тяжело опираясь на руку. Но, прежде чем служанка успела подойти к нему, легкая судорога пробежала по его телу и он снова упал на кровать, словно пораженный ударом. Кардинал, сидевший на краю кровати, поддержал его. На этот раз графиня уже совсем потеряла голову.

— Боже мой, боже мой, ему опять нехорошо... Скорее, скорее доктора.

— Не сбегать ли мне за ним, — предложил Пьер, которого вся эта сцена начинала сильно волновать.

— Нет, нет, не вы, оставайтесь здесь... Викторина поспешит. Она знает, где он живет... Доктор Джордано, — ты ведь знаешь, Викторина.

Горничная ушла, и тяжелое безмолвие воцарилось в комнате. Дрожь все более и более возрастающего страха охватила всех. Сильно побледневшая Бенедетта опять подошла к кровати; кардинал все еще поддерживал Дарио, голова которого покоилась на его плече, и пристально смотрел на него. Неопределенное, неясное еще, но уже страшное подозрение зарождалось в его душе. Землистый цвет лица, выражение пугливого беспокойства, — все это напоминало кардиналу смерть его лучшего друга, монсиньора Галло, которого он точно так же держал в своих руках за два часа до его последнего вздоха. Это был тот же обморок, и то же чувство испытывал теперь кардинал: ему казалось, будто он держит в своих объятиях лишь холодное тело дорогого существа, чье сердце перестает биться. Мысль о яде, неизвестно каким образом проникшем сюда и поражающем исподтишка, словно ударом грома, близких ему людей, все более и более в нем утверждалась. Долго сидел он совершенно неподвижно, склонившись над своим племянником и всматриваясь в лицо этого последнего представителя рода Бокканера. Он старался найти и, наблюдая, действительно находил все симптомы таинственной и неумолимой болезни, уже похитившей у него половину его собственного существа.

Бенедетта вполголоса умоляла кардинала:

— Дядя, вы устанете... Будьте добры, пустите меня, я поддержу его. Не бойтесь, я буду очень осторожна; он почувствует, что держу его я и может быть он проснется.

Кардинал поднял, наконец, голову, посмотрел на Бенедетту и уступил ей место, крепко обняв ее и поцеловав; в глазах его стояли крупные слезы и волнение, охватившее старика, не позволило ему скрыть, как прежде, под маской сдержанной холодности своей горячей любви к племяннице.

— О, мое бедное дитя, мое бедное дитя, — прошептал он, напоминая теперь могучий дуб, у которого подрубили корни.

Впрочем, кардинал тотчас же овладел собою, победил свою минутную слабость и начал медленно ходить по комнате. Пьер и дон Виджилио стояли неподвижные, безмолвные; они ожидали, не понадобится ли их услуги, и приходили в отчаяние от того, что ничем не могут помочь. Мало-по-малу кардинал удлинял свои прогулки, словно для всех его мыслей не хватало места в комнате Дарио; он начал заходить в уборную, затем в коридор и, наконец, в столовую. Он все ходил взад и вперед задумчивый, спокойный, с низко опущенной головой, занятой все теми же мрачными думами. Какой вихрь мыслей должен был проноситься в голове этого верующего католика, этого гордого князя, посвятившего себя церкви и бессильного теперь перед неотвратимой судьбой. От времени до времени он подходил к кровати и убеждался в быстром прогрессировании болезни, глядя на Дарио, лицо которого отражало все муки тяжелого кризиса; потом он отходил и то исчезая, то снова появляясь, своей размерной походкой напоминал человека, захваченного и уносимого монотонным действием сил, над которыми он не имеет власти. «Быть может, я ошибаюсь, — думал кардинал, — быть может это просто обморок и доктор лишь улыбнется, когда увидит больного. Надо надеяться и ждать». И он продолжал ходить взад и вперед, и ничто среди тяжелого безмолвия не могло вызвать такого тревожного чувства, как эти размеренные шаги высокого старца, ожидавшего решения судьбы.

Дверь открылась и запыхавшаяся Викторина вошла.

— Я нашла доктора, вот он.

В дверях показался доктор. Джиордано, с вечной улыбкой на румянном лице, с белыми кудрями, со сдержанным отеческим благодушием, выражавшимся во всех его движениях и придававшим ему сходство с каким-нибудь приветливым прелатом. Но как только он окинул беглым взглядом всю комнату, увидел, с каким страхом все ожидают его, он сделался тотчас же очень серьезным и лицо его покрылось непроницаемым выражением абсолютной лояльности к закулисным тайнам католической церкви, выработанной у него после частых визитов к своим пациентам — представителям этой церкви. Он произнес лишь одно слово, да и то полушепотом, бросив взгляд на больного:

— Как, опять?

Доктор намекал, вероятно, на рану, от которой так недавно ему пришлось лечить Дарио. Кто это может преследовать молодого князя, такого безобидного и совершенно безвредного? Никто, впрочем, не мог бы понять доктора, кроме Пьера и Бене-

детты. Но Бенедетта была охвачена таким лихорадочным нетерпением, так хотела поскорее убедиться, успокоиться, что она не слушала и не слышала ничего.

— О, доктор, умоляю вас, осмотрите его, успокойте нас... Я уверена, нет никакой опасности, ведь всего несколько минут тому назад он был совершенно здоров и так весел... Нет никакой опасности, не правда ли, не правда ли.

— Конечно, конечно, графиня, все это пустяки, вероятно... Посмотрим.

Доктор обернулся и глубоким поклоном приветствовал кардинала, который шел из столовой все тем же размеренным шагом; задумчивый он сел у ног Дарио и замер на месте. Вероятно, в глазах старца, грустных и пристально устремленных на глаза доктора, последний прочел смертную тревогу, потому, что он не прибавил ни слова и принялся осматривать Дарио, как человек, понявший, какое значение может иметь каждая лишняя минута. При этом осмотре лицо добродушного оптимиста все более бледнело, становилось все серьезней, а легкое подергивание губ доказывало скрытый ужас. Именно он, доктор Джиордано был при монсиньоре Галло во время его предсмертного припадка — острого припадка злокачественной лихорадки, как написал он в свидетельстве о смерти. Вероятно Джиордано тоже узнал ужасные симптомы — свинцовый цвет лица и обморок, словно вызванный сильнейшим опьянением. В качестве старого римского врача, привыкшего к совершенно внезапным смертям, он чувствовал, что и здесь виновником несчастья то, еще не разгаданное наукой, смертоносное «поветрие», которое могло быть вызвано злокачественными испарениями Тибра, но могло также иметь много общего и с легендой о вековом яде.

Доктор поднял голову и глаза его опять встретились с мрачными глазами кардинала, упорно смотревшего на него.

— Господин Джиордано, — спросил, наконец, старик: — я надеюсь вы не нашли ничего опасного... Это просто несварение желудка, не правда ли...

Доктор поклонился во второй раз. По легкому дрожанию голоса он понял, сколько затаенного страха скрыто в душе этого могущественного человека, еще раз пораженного в самой дорогой своей привязанности.

— Вы, вероятно, правы, ваше высокопреосвященство. Конечно, мы имеем дело с несварением желудка. Но иногда, если ко всему прибавится еще и лихорадка, это бывает очень опасно... Вы, ваше высокопреосвященство, вполне можете положиться на мое благоразумие и внимание...

На мгновение он умолк, потом добавил тоном приказания:

— Будем спешить; надо раздеть князя и не терять времени. Оставьте меня на минуту одного, так будет лучше.

Джиордано оставил в комнате лишь Викторину, — для помощи, как он сказал; если понадобится еще кто-нибудь, то он

позовет Джакомо. Очевидно, ему хотелось удалить всех близких людей, чтобы чувствовать себя свободнее без стеснительных свидетелей. Кардинал понял его, взял осторожно за руку Бенедетту и увел ее в столовую, куда последовали за ними Пьер и дон Виджилио.

Когда кардинал, стоя в томительном ожидании, скользнул взглядом по столу, этот взгляд остановился на корзине с винными ягодами; кардинал сразу перестал ходить, пораженный неожиданным откровением. Мысль, что он нашел разгадку все более овладевала им; он не знал только, какой бы опыт надо произвести, чтобы предположение сменилось уверенностью. Несколько минут он стоял, глядя на корзинку, и ничего не мог придумать. Наконец, он взял одну ягоду, будто желая получше рассмотреть ее. Но в ней не было ничего замечательного и кардинал собрался уже положить ее обратно, как вдруг попугай, большой охотник до смокв, громко и резко крикнул. Его крик словно послужил сигналом кардиналу: объект опыта был найден.

Медленно, с серьезным выражением сумрачного лица, кардинал поднес ягоду попугаю и дал ему с'есть ее без колебания и сожаления. Попугай был очень красив и старик его очень любил. Вытягивая свое тонкое изящное тельце, будто вытканное из пепельно-зеленого шелка с розоватыми отливами, он очень мило взял своей лапкой смокву и затем клювом пробил ее. Однако, слегка поклевавши, попугай бросил ягоду почти нетронутой. Кардинал, попрежнему серьезный, невозмутимый, смотрел на птицу и ждал. Ему пришлось ждать долгих три минуты. Он уже было совсем успокоился и почесал голову, которая поворачивала от удовольствия голову, поддаваясь ласке и смотрела на своего хозяина красным глазом, блестящим, как рубин. Вдруг попугай опрокинулся, даже не взмахнув крыльями, и упал словно свинец. Тата был мертв, точно убитый ударом молнии.

Бокканера не произнес ни слова и только поднял руки к небу, испуганный тем, что он узнал, наконец, великий боже. Какое преступление, какая ужасная ошибка, какая отвратительная игра случая! Ни одного отчаянного возгласа не вырвалось, однако, у кардинала, только тень, покрывшая его лицо, стала еще суровее, еще мрачнее.

Но другой крик, отчаянный крик Бенедетты, нарушил тишину комнаты. Вместе с Пьером и доном Виджилио она с удивлением следила сперва за кардиналом; теперь это удивление сменилось ужасом.

— Яд, яд! О, Дарио, сердце мое, моя душа!

Кардинал схватил свою племянницу за руку и, бросив искоса взгляд на обоих священников, своего секретаря и своего гостя,— свидетелей всей сцены, проговорил:

— Молчи, молчи!

Резким, полным протеста движением, Бенедетта вырвалась, охваченная бешеным гневом и ненавистью.

— Почему я должна молчать. Это Прада виновник всего, я уличу его, я хочу, чтобы и он погиб тоже... Я говорю вам, что это дело рук Прады, я знаю все. Вчера господин Фроман вернулся из Фраскати в его коляске вместе с аббатом Сантобона и с этой вот корзинкой ягод... Да, да, у меня есть свидетели, — это Прада, Прада...

— Нет, нет! Ты с ума сошла, замолчи!

Кардинал опять схватил за руки молодую женщину; всей силой своего авторитета он старался подчинить ее своей воле. Сам он отлично зная, какое влияние имел кардинал Сангвинетти на экзальтированного Сантобона, понял теперь все, понял, что здесь не было прямого подстрекательства, а лишь, скрытое нравственное влияние. Сангвинетти попросту раздражил дикое животное и натравил его потом на опасного соперника в ту именно минуту, когда папский престол должен был, повидимому, освободиться. Правдоподобность, достоверность даже подобного предположения сразу же сделали для него очевидной: ему даже не за чем было понимать всех подробностей, вполне уяснить себе всех неясностей. Так было потому, что он чувствовал; так должно было быть.

— Нет, слышишь. Это не Прада... Он не может питать злобы ко мне, а меня одного имели в виду, мне одному предназначались эти ягоды... Подумай только. Не будь я случайно нездоров, я съел бы большую часть ягод, а все знают, как я люблю смоквы. Когда бедный Дарио ел их, я шутил, я просил его оставить лучшие мне на завтра... Вся мерзость была подстроена против меня, а он пал жертвой. О, боже, по самой жестокой случайности, по самой чудовищной игре безрассудного случая... О, господи, господи, неужели ты оставил нас!

Слезы наполнили его глаза. Бенедетта дрожала и все еще, казалось, не верила.

— Но, дядя, у вас нет врагов: почему вы думаете, что Сантобона способен был бы покушаться на вашу жизнь?

Несколько минут кардинал молчал, не находя основательного ответа. Уже под влиянием великодушия он хотел умолчать обо всем. Потом в нем пробудилось одно воспоминание и он решился солгать:

— У Сантобона голова всегда была не совсем в порядке, и, я знаю, он ненавидит меня с тех пор, как я отказался вытащить из тюрьмы его брата, одного из наших прежних садовников, отказался выдать ему удостоверение о добропорядочном поведении, чего я, конечно, и не мог сделать... Самая смертельная ненависть имеет еще более пустые причины. Он думал, что должен отомстить мне.

Бенедетта, совершенно разбитая, неспособная больше спорить, с жестом полного отчаяния тяжело опустилась на стул.

— О, боже мой, боже мой, я ничего не понимаю... Да и какое значение может иметь все это теперь, когда мой Дарио ле-

жит там. Надо думать лишь об одном — о его спасении, я хочу, чтобы его спасли... Как долго они возьмется там в комнате. Почему Викторина не позовет нас.

Страшно взволнованная Бенедетта поднялась.

— Умереть? Дарио, должен умереть?.. О, я не допущу этого, мы спасем его... Идем к нему. Обнимем его и спасем. Идите, дядя, идите скорее... Я не хочу, не хочу, чтобы он умер!

Она направилась к двери и ничто в мире не помешало бы ей войти в комнату Дарио, но в ту же минуту дверь открылась и Викторина с растерянным до крайности видом, несмотря на ее обычное спокойствие, показалась на пороге.

— Доктор просит вас и его высокопреосвященство пожаловать сюда скорее, скорее.

Пьер, ошеломленный всем происходившим, остался на минуту с доном Виджиллио в залитой солнечными лучами столовой. Яд, яд, как во времена Борджиа, скрытый в изящной корзинке с фруктами и преподнесенный мрачным изменником, которого не решаются даже предать суду, — пронеслось в голове Пьера. Он вспомнил о своем разговоре с Прада на возвратном пути из Фраскати, о своем скептическом отношении парижанина к легендарным снадобьям, годным по его мнению, служить лишь романтическим аксессуарам пятого действия какой-нибудь драмы. И вот все эти отвратительные легенды, все рассказы об отравленных букетах и ножках, о прелатах и даже самих папах, от которых отделялись, если они почему-либо становились неудобными, помощью чашки утреннего шоколада, — находят себе подтверждение в действительности. Пьер не мог более сомневаться, что именно Сантобоно, сумасбродный и страшный, был виновником всего; аббат вспомнил весь предыдущий день и многое становилось ему теперь понятным: нечаянно подслушанные им честолобивые замыслы и угрозы Сангвинетти, его лихорадочная деятельность в виду возможной кончины папы, его подстрекательство к преступлению во имя спасения католической церкви; — потом эта встреча с аббатом, несшим свою корзинку с ягодами, самая эта корзинка, которую тот вез с такими предосторожностями на своих коленях во все время длинного переезда через Кампанию, окутанную меланхолическим сумраком, и воспоминание о которой действовало теперь на Пьера словно какой-то кошмар. Он всегда будет с дрожью вспоминать эту корзинку, никогда не забудет ее формы, цвета, даже аромата ее ягод. Яд, яд, значит он — не сказка, значит он хранится, он в ходу еще во мраке «черного мира» среди алчных вожделений к победам и владычеству.

Пьер решил вернуться в комнату князя, где быть может нужна была их помощь. Уже на пороге этой комнаты Пьеру всю душу перевернуло то, что он увидел. Подозревая отравление, доктор Джиордано вот уже полчаса напрасно испытывал все обычные средства в таких случаях: рвотное, магнезию. Он

даже заставил Викторину сбивать яичный белок в воде. Но болезнь прогрессировала с такой быстротой, что теперь уже не было спасения. Дарио, раздетый лежал на спине, опираясь на подушку, руки его были вытянуты вдоль постели по одеялу. Он был ужасен, словно опьяненный до бесчувствия, что было симптомом той таинственной и грозной болезни, от которой уже умер не один только монсеньор Галло. Казалось, сильное головокружение лишило его сознания, глаза его уходили все глубже и глубже в черные орбиты, лицо словно высыхало, покрытое землистой тенью и старилось на глазах у всех. Несколько минут до того Дарио, совершенно обессиленный, закрыл глаза; одно только дыхание, порывистое, тяжелое и долгое, подымая грудь, говорило о его жизни. Наклонившись к лицу несчастного умирающего, Бенедетта стояла, переживая все его страдания; охваченная невыносимым бессильным горем, она сама была неузнаваема, бледная, растерянная, перепуганная; казалось, смерть мало-помалу захватывала и ее вместе с Дарио.

Кардинал Бокканера отвел доктора в амбразуру окна; там вполголоса они обменялись несколькими словами.

— Он умрет? Да?

Доктор, тоже сильно взволнованный, сделал отчаянный жест побежденного.

— Увы, да. Я должен предупредить ваше высокопреосвященство, через час все будет кончено.

Мгновенно они молчали.

— И, не правда ли, от той же болезни, что и Галло.

Когда доктор ничего не ответил, кардинал добавил дрожа и отворачиваясь.

— Ну, от злокачественной лихорадки?

Джиордано отлично понял, чего хотел от него кардинал. Надо было молчать, навсегда скрыть преступление ради доброй славы его матери—католической церкви. Нельзя себе представить ничего более величественного, ничего более сильного и трагического, чем этот поступок семидесятилетнего старца, столь бодрого, не желавшего, чтобы на его духовную семью пала тень, а его семью по плоти забрызгали неизбежной грязью громкого процесса. Нет, нет, необходимо молчать и пусть в этом вечном безмолвии будет все погребено, все забыто.

С кротким и скромным видом доктор в конце концов наклонил голову.

— Да, от злокачественной лихорадки. Вы, ваше высокопреосвященство, определили совершенно правильно.

На глазах Бокканера показались две крупные слезы. Теперь, когда всякая опасность для католической церкви была устранена, его сердце снова обливалось кровью. Он стал умолять доктора сделать последнюю попытку, попробовать совершить невозможное; но доктор лишь отрицательно качал головой, указывая дрожащими руками на больного. Будь то его род-

его отец, его родная мать, и тогда он не в силах был бы сделать что-либо. Смерть неизбежна. К чему утомлять, подвергать пытке умирающего, когда этим можно лишь усилить его страдания. Кардинал, в виду близкой смерти князя, вспомнил о своей сестре Серафине и приходил в отчаяние от того, что она, по его словам, не успеет поцеловать в последний раз своего племянника, если ее задержат в Ватикане, где она теперь должна быть; доктор предложил съездить за ней в своей коляске, которая ждала его у подъезда. На это достаточно было и двадцати минут. Доктор вернулся бы во время, еслибы в последний момент в нем оказалось надобность.

Не двигаясь с места, кардинал на несколько минут остался один в амбразуре окна. Глазами, затуманенными от слез, он смотрел на небо и протянул к нему с горячей мольбой свои дрожащие руки. О, господи, если наука так ничтожна и беспомощна, если этот врач поспешил скрыться, лишь бы как-нибудь выйти из неловкого положения, в которое его поставило бессилие науки, то ведь ты, о господи, можешь совершить чудо, чтобы доказать еще раз людям всю силу твоего беспредельного могущества. Чуда, чуда молил всей силой своей души верующий старец, с настойчивостью почти требуя этого чуда, как сильный мира сего, убежденный в том, что он оказал великую услугу небу, отдавши католической церкви всю свою жизнь. Он молил о чуде ради продолжения своего рода, ради того, чтобы последний его отпрыск не погиб такой бесславной смертью и мог сочетаться браком со своей бесконечно любимой двоюродной сестрой, теперь плачущей и несчастной. Чуда, чуда! Ради этих двух дорогих детей, ради продолжения рода, чуда! Ради увековечения славного имени Бокканера, потому что чудо это даст возможность молодым супругам одарить церковь целым рядом потомств, преданных ей.

Когда кардинал снова вышел на середину комнаты, он, казалось, преобразился; вера засушила его слезы, укрепила его душу, сделала ее покорной воле господя. Он отдал себя в руки божии и решил сам причастить Дарио. Жестом он подозвал дону Виджиллио и вместе с ним ушел в соседнюю комнату, служившую часовней. Ключ от дверей этой часовни кардинал всегда носил с собою. В пустую комнату, где стояли лишь небольшой алтарь из расписного дерева с медным распятием наверху, обыкновенно никто не входил. В замке она слыла святым местом, таинственным и страшным, потому что там, как говорили, его высокопреосвященство проводил целые ночи на коленях в беседе с господом, являвшимся ему. Теперь он вошел туда при всех, оставив дверь часовни широко раскрытой, словно желая этим заставить всевышнего снизойти к нему и совершить чудо.

Раздались слова обоих священнослужителей.

Смерть приближалась с такой угрожающей быстротой, что все обычные приготовления пришлось поневоле оставить.

Когда Бенедетта увидела кардинала со святым миром, она с тяжелым стоном упала на колени у подножия кровати; Пьер и Викторина, изволнованные до глубины души, душу раздирающим зрелищем, тоже опустились на колени, несколько позади молодой женщины. Своих огромных на бледном, как снег, лице, широко раскрытых глаз графиня не сводила с Дарио, которого она не узнавала: лицо его стало совершенно серым, кожа измялась и покрылась морщинами, словно у старика. Не ради того, чтобы повенчать ее с Дарио, чего так хотел кардинал, совершал теперь святое таинство этот всемогущий князь католической церкви: он совершал его, чтобы навеки разлучить их, положить предел всем их гордым стремлениям, отдать их смерти, которая уносит все, как ветер уносит пыль с дороги.

Несколько мгновений кардинал стоял с дрожащими руками и смотрел на безмолвное лицо, на закрытые глаза умирающего, ожидая чуда. Но лицо оставалось попрежнему помертвевшим и безмолвным. Дон Виджиллио клочком ваты вытер губы Дарио и из груди умирающего не вырвалось вздоха облегчения. Последняя молитва была уже произнесена и кардинал вместе с аббатом вернулся в часовню, среди скорбного безмолвия. Там оба они опустились на колени и в горячей молитве старец пал ниц на неприкрытый пол. С глазами, поднятыми к медному распятию, он уже ничего не видел, ничего не слышал, отдался всей своей молитве, прося господина призвать к себе его вместо Дарио, если ему нужна искупительная жертва, и не отчаиваясь, пока Дарио еще дышит и пока сам он один на коленях беседует с самим господом, смягчить гнев его. Он казался теперь и нищим духом, и сильным. И если бы в эту минуту рухнул старый замок, кардинал ничего не заметил бы.

В комнате Дарио все было попрежнему. Казалось, все замерло там под тяжестью того скорбного величия, которым наполнило комнату торжественное священнодействие. Вдруг Дарио открыл глаза. Вероятно в эту минуту просветления среди состояния, подобного опьянения, он вполне понял свое положение. Умирать так ужасно, так бесславно, эта мысль должна была вызвать в легкомысленном эгоисте Дарио возмущение и отвращение,—в Дарио, который так увлекался красотой, был так весел всегда, так жизнерадостен и не умел страдать. Жестокая судьба слишком грубо убивала этого представителя вымирающего рода. Он чувствовал отвращение к самому себе, страх и отчаяние ребенка овладели им, и они именно дали ему силы подняться на своей постели и растерянно оглядеть комнату, чтобы убедиться, не оставили ли его все. Когда взгляд его упал на Бенедетту, все еще стоявшую на коленях возле кровати у ног его, он вдруг с необычайной силой бросился к ней, протягивая свои руки и сгорая от эгоистического желания увести ее с собою.

— О, Бенедетта, Бенедетта... Иди, иди со мной; не дай мне умереть одному.

Бенедетта ошеломленная, неподвижная не сводила с него глаз. Болезнь, уносившая того, кого она любила, казалось, овладевала и ею все более и более. Она невероятно побледнела. Когда она увидела Дарио воскресшим, с протянутыми к ней руками, когда услышала его призыв, она встала и приблизилась к нему.

— Я иду с тобой, мой Дарио... Вот я, вот я.

И Пьеру, и Викторине, продолжавшим стоять на коленях, пришлось быть свидетелями такой величественной сцены, что они остались словно пригвожденными к полу; перед ними, казалось им, совершается нечто сверхчеловеческое, чему люди не могут помешать. Бенедетта так говорила и действовала, как будто она была уже свободна от всех условностей мирских, как будто она была уже вне жизни и смотрела на людей и на все земное издали, из той неведомой бездны, куда она должна была сейчас уйти.

— О, мой Дарио, нас хотели разлучить. Да, это для того, чтобы я не могла отдаться тебе, чтобы мы не были счастливы в объятиях друг друга, тебя обрекли на смерть, хорошо зная, что и я умру с тобой. И этот человек убил тебя, да. Он твой убийца, если даже другой нанес тебе удар. Он—виновник всему, он—похитил меня у тебя, когда я готовилась стать твоею, он—убивает нас, он—вдохнул в нас, во все вокруг тот проклятый яд, от которого мы умираем... О, как я ненавижу, как я ненавижу его, я способна была бы задушить его этой ненавистью, прежде чем уйти с тобой.

Бенедетта все это говорила тихо, почти шопотом. Она не назвала даже имени Прада и только, едва обернувшись к Пьеру, неподвижно стоявшему на коленях за ее спиной, повелительно сказала:

— Вы увидите его отца, скажите ему—я проклинаю его сына. Этот нежный герой меня любил, я и теперь люблю его, и то, что вы скажете ему, разорвет его сердце на части, но я хочу, чтобы он все знал, он должен все знать во имя правды и справедливости.

Обезумевший от страха Дарио опять с плачем протянул руки чувствуя, что Бенедетта не смотрит на него и ее светлые глаза не устремлены в его глаза.

— Бенедетта, Бенедетта... Иди, иди ко мне.... О, как черна эта ночь, я не хочу один погружаться в нее.

— Я иду, иду, мой Дарио... Вот я.

Бенедетта подошла еще ближе, она уже почти касалась его, стоя у кровати.

— Зачем я дала клятву мадонне не принадлежать ни одному человеку, даже тебе, прежде чем это будет угодно богу и его слугитель соединит нас. Я гордилась своей непорочностью, я считала высшим счастьем то, что мне неизвестны грязь и низменные вождения плоти. И я хотела тому, кого я полюблю всей душой, принести себя в дар, чтобы он один был властелином

моей души и моего тела... Эту непорочность, которую я так гордилась, которую я, как от волка и зубами и когтями защищала от того другого, я защищала ее со слезами и от тебя, чтобы ты не осквернил мое сокровище, охваченный святотатственным жаром, прежде чем наступит час дозволенного блаженства. И если бы ты знал, какую борьбу мне приходилось выдерживать с самой собою, чтобы не уступить! Мне невыносимо хотелось закричать тебе: возьми меня, обладай мною! Я хотела тебя всего, я хотела вся быть твоею, да, вся, как женщина, которая знает, принимает и требует всей любви, делающей ее супругой и матерью... О, с каким трудом сдержала я свою клятву, когда наша фамильная кровь бешено кипела во мне! И вот теперь какое непоправимое горе!

Она подошла еще ближе и шепот ее стал еще более страстным.

— Помнишь тот вечер, когда ты вернулся раненый в плечо... Я думала—ты умер, я кричала от бешенства, воображая, что ты уйдешь от меня навсегда, что я навсегда потеряю тебя прежде, чем мы познаем счастье. Я жалела, что не отдалась тебе, что не могла умереть с тобой и быть похороненной вместе с тобой, прижавшись к тебе... И подумать только, такое ужасное предостережение не повело ни к чему! Я была слишком слепа, слишком глупа и не поняла урока. И вот тебя сразили опять, тебя похищают у меня и ты уходишь от меня прежде, чем я отдалась тебе! Время потеряно безвозвратно... О, несчастная гордость, о, глупые мечты!

— Бенедетта, Бенедетта, — повторял умирающий, охваченный ребяческим страхом уйти в мрак вечной ночи.

— Я иду, иду, мой Дарио...

Ей показалось, будто служанка, совершенно неподвижно стоявшая на коленях, сделала движение, чтобы подняться и поцеловать ей.

— Оставь, оставь, Викторина, ничего в мире не может помешать мне. Это сильнее всего, сильнее смерти. Что-то, когда я несколько минут тому назад стояла на коленях, подняло меня, толкнуло... Я знаю, куда иду... И разве я не дала себе клятву в тот вечер, когда Дарио был ранен ножом. Разве я не поклялась принадлежать ему даже в гробу, если это понадобится. Пусть—я поцелую его и он возьмет меня с собой! Мы умрем, но все же мы будем супругами навсегда!

Бенедетта вернулась к умирающему и уже касалась его.

— Мой Дарио, я иду, я с тобой!

Бенедетта легла на кровать и обняла умирающего Дарио, а Дарио едва мог обвить ее руками. Наконец, свершилось то, чего она так хотела, несмотря на свое кажущееся спокойствие, несмотря на свое упорство, под которыми скрывалось красное пламя жара. Всегда это пламя сжигало ее, даже в минуты, казалось бы, полного покоя. Теперь, когда отвратительная судь-

ба похищала у нее ее Дарио, она отказывалась потерять его, не отдавшись ему; раньше она была слишком безумна, если не отдавалась, когда они оба были и веселы и сильны. В ней кричало отчаяние женщины, которая не хочет умереть ненужной и бесплодной, как зерно, уносимое ветром и лишенное возможности дать зародыш новой жизни.

— Мой Дарио, я иду, я иду.

Она всей силой своего нагого тела прижималась к нему. И в эту минуту Пьер увидел на стене у изголовья кровати герб князей Бокканера, вышитый золотом и цветным шелком на старинном фиолетовом бархате. Он узнал этого крылатого дракона, изрыгающего пламя; он узнал суровый, кровавый девиз «Восса nera, Анна rosa», черные уста, красная душа. Можно было подумать, будто все эти страстные и увлекающиеся предки трагических легенд воскресли теперь, чтобы заставить прекрасную девушку вступить в такой ужасный, такой необычайный брак на ложе смерти. И Дарио умер от счастья, выпавшего ему, наконец, на долю; руки его так и остались конвульсивно сжатыми вокруг ее стана, как будто он хотел унести ее с собой. От горя ли, что обладание было неполным, или от радости, что все же она стала супругой Дарио, такая волна крови прилила к сердцу Бенедетты, когда мертвый бессильно прижимал ее к себе, что это сердце не выдержало. Она умерла на груди у своего мертвого возлюбленного, крепко прижавшись к нему в объятии, соединившем их навсегда.

Раздался болезненный стон; Викторина поняла все и подошла к кровати. Пьер стоял, охваченный трепетом благоговейного удивления и глубокого горя, пораженный величием совершившегося.

— Смотрите, смотрите... — в отчаянии тихо повторяла горничная, — она неподвижна и не дышит. Мое бедное дитя, бедное дитя! Она умерла!

Аббат прошептал:

— Боже мой, как они прекрасны!

И действительно никогда еще лица умерших не сияли такой возвышенной, такой лучезарной красотой. Несколько минут тому назад постаревшее землистое лицо Дарио теперь было бледно, как чистый мрамор; черты лица его вытянулись, точно в порыве глубокой радости; лицо Бенедетты осталось серьезным, на губах ее легла складка сильной воли, все тело ее выражало болезненное и бесконечное блаженство. Волосы обоих смешались, глаза оставались широко раскрытыми, устремленными одни в другие с вечной лаской. Они навсегда прижались друг к другу и отошли в вечность, наслаждаясь своим единением, победившим смерть и окружавшим их лица лучезарной красотой бессмертной, победоносной любви.

Не отдавая себе самому отчета, Пьер очутился в маленьком заброшенном садике дворца на берегу Тибра. Вероятно, он со-

шел туда, изнемогая от усталости и горя и чувствуя потребность в свежем воздухе. Тень легла на чудесный уголок, на античный саркофаг, где тонкая струйка воды, вытекающая из трагической маски, пела свою нежную песенку; лавр, осенявший его буксы, апельсиновые деревья, кусты казались темными, неясными массами под мрачным, почти черным небом. О, как было хорошо и чудное утро здесь, в этом задумчивом садике! В нем словно сохранился еще отголосок радостного смеха Бенедетты. Все счастье жизни лежало теперь вместе с нею, там наверху; вместе с ним она вернулась в небытие, поглощающее все. Сердце Пьера до боли сжалось и он разрыдался, сидя там же, где сидела Бенедетта, — на обломке упавшей колонны. Он дышал тем воздухом, которым дышала она и где сохранился, казалось, непогасимый аромат этой чудной женщины.

На башенных часах, где то очень далеко, пробило шесть. Пьер вскочил: он вспомнил, что в 9 часов вечера ему назначена аудиенция. Оставалось еще только три часа. Он было совершенно забыл про эту аудиенцию, и теперь ему казалось, будто целые месяцы прошли с тех пор, как она назначена. Ему казалось, что он должен идти на свидание, которое было назначено так давно, что человек приходит на него совершенно изменившимся, состарившимся от всего пережитого. Пьер сделал усилие над собой, встал и решил через три часа пойти на аудиенцию и, наконец, увидеть папу.

IX.

Без десяти минут девять Пьер, бродивший по Ватикану, решился и направился к бронзовой двери. Она тонула во мраке ночи. Открыта была только одна половина дверей в конце правого портика. Он вспомнил наставление, которое ему давал монсеньор Нани: у каждой двери спрашивать господина Сквадра, не прибавляя больше ни слова; и каждая дверь будет открываться, и ему останется лишь следовать. Теперь никто на свете не знал, что он здесь, так как Бенедетты уже не было в живых. Переступив порог бронзовой двери и очутившись перед неподвижным часовым, который с заспанным видом охранял вход, он просто произнес условное слово:

— Господин Сквадра.

И так как солдат не шевельнулся и не загородил ему дороги, он прошел мимо и сейчас же повернул направо в большой вестибюль лестницы Пиа, составленной из огромных квадратных плит, которая ведет на двор святого Дамазия. И нигде ни души; только заглушенное эхо шагов да свет газовых рожков, смягченный матовыми колпаками.

Пьер начал подниматься по лестнице. Это была очень широкая лестница с белыми мраморными перилами, низкими ступенями и стенами, отделанными под желтоватый мрамор. В матовых шарах газ казался уже притушенным из благоразумной

молчании. И среди этого тусклого и слабого, как сама старость, освещения резко бросалось в глаза величественная и холодная вышность. На каждой площадке лестницы бодрствовал часовой с алебардой; и среди тяжелого сна, окутавшего дворец, слышны были только мерные шаги этих людей, которые расхаживали взад и вперед, вероятно, для того, чтобы не поддаться общему оцепенению.

Среди этого трепетного полумрака, среди глубокого жуткого молчания лестница казалась бесконечной. Лестницы между этажами разделялись площадками. Еще одна и еще, и еще....

Когда он, наконец, добрался до площадки третьего этажа, ему казалось, что он поднимался целую вечность. Перед стеклянной дверью залы Клементины стоял караульный.

— Господин Сквадра.

Сторож отступил и пропустил молодого священника.

Наконец, на другом конце зала Пьеру показалось, что он видит на скамье человеческие фигуры. Это были три дремавших солдата.

— Господин Сквадра.

Один из караульных медленно поднялся со своего места и исчез. Пьер понял, что ему надо подождать. Наконец, стражник возвратился, и сзади него на пороге соседней комнаты появился человек лет сорока во всем черном, которого можно было принять или за слугу большого дома, или за сторожа соборной церкви. У него было прекрасное лицо, корректное, гладко выбритое, с немного большим носом и пронзательными светлыми глазами.

— Господин Сквадра,— сказал Пьер в последний раз.

Человек поклонился, показывая тем, что господин Сквадра— это он сам. Затем следующим поклоном он пригласил священника следовать за собой. И оба, один за другим, без всякой торжественности вступили в бесконечную амфиладу зал. Пьер, знакомый из разговоров с Нарсисом с церемониалом, узнавал, проходя, различные залы, вспомнил назначение каждого из них и мысленно наполнял их теми лицами, которые имели право находиться в данном месте. Каждая дверь была предназначена лишь для известного ранга людей; так что лица, которые должны быть приняты папой, переходят из рук в руки—от слуг к почетной страже, потом к почетным камерариям, потом к тайным камерариям и т. д. до святого отца. Но с восьми часов вечера залы пустеют, редкие лампы одиноко горят по консолям, и все это превращается в длинный ряд безлюдных, наполовину освещенных комнат среди величественной пустоты, которая охватывает весь дворец.

Господин Сквадра, медленно и безмолвно шедший впереди и ни разу не обернувшийся, теперь на мгновение остановился у дверей с секретной передней, как бы для того, чтобы дать возможность посетителю немного оправиться перед входом в святую

лице. Одни только тайные камерарии могли жить здесь и одни лишь кардиналы имели право дожидаться здесь папской аудиенции. Когда господин Сквадра решился, наконец, ввести Пьера в эту комнату, Пьер по легкому мерному трепету, охватившему его, почувствовал, что вступает в какой-то иной потусторонний мир, от которого обыкновенная человеческая жизнь со своими тревожениями и мудрствованиями отстоит бесконечно далеко. Днем возле дверей стоял обыкновенно почетный караульщик, но теперь дверь была свободна, комната, как и прочие — совершенно пуста. Для того, чтобы наполнить ее, надо было вызвать в воображении множество знатных и могущественных особ, которые в блестящих одеждах обыкновенно толпились в ней. Эта комната была немного узка и имела форму коридора; два ее окна выходили на новый квартал Крепостных Лугов и только одно — в конце, около двери, ведущей в зал малого трона, — выходило на площадь святого Петра. Между этой дверью и окном сидел обыкновенно за небольшим столом секретарь; теперь его не было. И снова — позолоченная консоль, распятие между двумя лампами. Внушительно тикали большие часы из черного дерева с медной инкрустацией. Единственно, что было интересного в этой комнате с потолком, украшенным золотыми розетками, — это красивые штофные обои с золотыми гербами, два ключа, тиара и лев, положивший свою лапу на земной шар.

Вдруг господин Сквадра заметил, что Пьер, вопреки этикету, до сих пор держал в руках свою шляпу, которую должен был оставить в зале буссоланти. Только кардиналам полагалось иметь при себе шляпы. Он мягким движением взял из рук Пьера шляпу и сам положил ее на консоль, показывая этим, что она должна оставаться, по крайней мере, тут. Потом опять таки не говоря ни слова, он жестом дал понять Пьеру, что пойдет доложить о посетителе его святейшеству.

Нервное возбуждение Пьера, несмотря на его усилие успокоиться, возрастало с минуты на минуту и не исчезало даже при виде этого океана тьмы и глубокого покоя. Он отошел от окна и вздрогнул всем телом, услышав шум шагов и полагая, что это идут за ним. Шум доносился из соседнего зала малого трона, в котором, как он заметил, дверь оставалась полуоткрытой. Не слыша больше ничего, Пьер, охваченный нетерпением, осмелился вытянуть голову, чтобы посмотреть. Это был довольно большой зал, в котором стояло позолоченное кресло, покрытое красным бархатом, под таким же балдахином; и здесь находилась неизбежная консоль, высокое распятие из слоновой кости, часы, две лампы, канделябры, две большие вазы на тумбах, две вазы поменьше, вышедшие из севрской фабрики и украшенные изображениями святого отца. Впрочем, здесь все-таки было уютней — смиренный ковер покрывал весь пол, поддельный камин, задрапированный материей весьма гармонировал с консолью. Комнаты папы выходили в этот зал и он принимал здесь тех лиц, которых желал

особенно почитать. Волнение Пьера возрастало при мысли, что лишь одна дверь отделяет его от папы. Почему его заставляли ждать? Где примут его? Может быть в этом зале, чтобы избежать слишком близкой интимности? Ему рассказывали об этих тайных аудиенциях, о неизвестных посетителях, которых точно так же, в глубоком молчании, вводили сюда, о знатных особах, имена которых произносятся шопотом. Его, вероятно, считали лицом компрометирующим, если пожелали дать ему аудиенцию в подобной тайной изолированной обстановке. Потом он вдруг понял причину слышанного им шума: он заметил на консоле около лампы маленький деревянный ящик, нечто в роде глубокого подноса с ручками, на котором был приготовлен прибор для ужина: посуда, куверт, бутылка вина и стакан. Он понял, что господин Сквadra, заметив этот прибор в комнате папы, вынес его сюда и затем возвратился чтобы привести кое-что в порядок. Пьер знал воздержанность папы, который всегда ел за маленьким столиком; все кушанья подавались ему сразу на этом небольшом подносе—мясо, овощи, немного вина по предписанию врача, и главное—бульон, чашки бульона, которыми он любил угощать старых кардиналов;—вот и весь обед старого холостяка. Ежедневно бюджет Льва XIII не превышал восьми франков. О, оргии Александра VI, о, пышные празднества Юлия II и Льва X! Но в комнате папы снова послышался легкий шум; Пьер в ужасе от своей нескромности отодвинулся; ему представилось, что среди мертвого покоя, в который был погружен зал малого трона, внезапно вспыхнул пожар.

Пьер почувствовал себя как бы охваченным пламенем. Наконец то он увидит папу, облегчит перед ним свое сердце, откроет душу! О, как долго и как страстно он ждал этой минуты, сколько энергии вложил он в борьбу для достижения этого момента! И ему вспомнилась та масса все новых и новых препятствий, которые ему пришлось преодолеть со дня своего прибытия в Рим; и эта долгая борьба и неожиданный успех усиливали его волнение, увеличивали его стремление к победе. Да! Да! Он победит, он пристыдит противников своей книги. Он ведь говорил монсеньору Форнаро: разве святой отец может осудить его? Ведь он только высказал свои сокровенные убеждения; может быть, он слишком поспешил; но это — извинительная ошибка! Ему вспомнилось заявление, которое он сделал монсеньору Нани в тот день, когда сказал, что никогда не согласится на унижение своей книги; он не отрекается ни от одного слова и не чувствует раскаяния. И теперь еще он старался вернуть себе свое мужество, решимость защищаться; он хотел, чтобы его вера, его убеждения восторжествовали; нервы его были напряжены до крайней степени после этого бесконечного шествия по огромному, мрачному и немому Ватикану. Мысли его все более и более путались; он старался привести их в порядок, придумывал, как он войдет к папе, что скажет, в каких выражениях. В его душе накопилось слишком много смутного и тяжелого; эта тяжесть давила его, хотя он сам

не отдавал себе отчета в этом. Он был разбит, чувствовал страшную усталость; ему оставалось лишь отдалиться своей идее, лишь испускать вопли сострадания, видя такое невероятное количество страданий. Да, да, он войдет, бросится на колени и будет говорить так, как подскажет ему сердце. И, конечно, святой отец улыбнется и скажет, что не может осудить произведения, в котором он увидел выраженными свои собственные самые заветные мечты.

Пьер почувствовал такую слабость, что снова должен был подойти к окну и прислонить свой пылающий лоб к холодному стеклу.

В ушах у него шумело, ноги подкашивались, кровь прилиwała к голове. Он старался больше ни о чем не думать; он смотрел на Рим, окутанный мраком и хотел, чтобы его охватил тот сон, в который погружен был город.

Вдруг он почувствовал, что кто-то неподвижно стоит за его спиной. Он резко с испугом обернулся.

Действительно, перед ним во всем черном одеянии стоял господин Сквадра. Жестом он пригласил Пьера следовать за собой. Затем он пошел вперед, прошел через зал малого трона и медленно отворил дверь папской комнаты. Посторонившись, он пропустил Пьера и без шума закрыл дверь.

Пьер очутился в комнате его святишества. Он боялся, что им овладеет один из тех приступов волнения, который или лишает людей рассудка, или совершенно парализует их. Ему рассказывали про женщин, которые являлись к папе еще живые, близкие к обмороку или же приходили в какое-то неистовство, плясали, прыгали, как будто поднимаемые какими-то невидимыми крыльями. Но вдруг весь его страх, все лихорадочное волнение, постепенно возраставшее в нем, прекратились. Наступила реакция: он почувствовал какое-то спокойное оцепенение, мысли прояснились, взор различал все предметы. Когда он входил, ему ясно представилась вся важность и значение этой аудиенции для него, простого, маленького священника, который предстанет перед верховным вождем церкви, перед властелином человеческих душ. От этого свидания зависела вся его религиозная и нравственная жизнь; и, может быть, эта то именно мысль и наполняла его таким леденящим страхом, когда он робко подходил к порогу страшного святилища; он думал, что, проникнув сюда, он будет близок к потере сознания, забудет все слова, которые он собирался сказать и будет в состоянии лепетать лишь детские молитвы.

Потом, когда он вспоминал об этом моменте, ему припомнилось, что в этой большой комнате, обтянутой желтым штофом, с большим альковом, качалкой, шкафом, сундуками, в которых, как рассказывают, хранились под тройным замком сокровища лепты святого Петра — первое, что он увидел, был Лев XIII.

Как только Пьер переступил порог, он сразу почувствовал на себе взгляд пары черных, блестящих глаз, устремленных на него. Царила глубокая тишина; лампы горели неподвижным блед-

ним светом; и среди этого неподвижного спокойствия спящего Ватикана. чувствовался вдали только старый Рим, погруженный в мрак, подобный черному озеру, в котором отражались яркие звезды. Пьер должен был подойти; он трижды преклонил колени и наклонился, чтобы поцеловать туфлю из красного бархата, лежавшую на подушке. Папа не произнес ни одного слова, не сделал ни одного движения. И когда Пьер выпрямился, он снова встретил взгляд двух горящих, полных ума глаз.

Наконец, Лев XIII, не пожелавший избавить его от унижительного обряда целования ноги и заставляющий его теперь стоять перед собою, заговорил первый, не переставая пронизывать его своим взглядом, проникавшим в самые недры души.

— Сын мой, вы горячо желали меня видеть, и я согласился доставить вам это удовольствие.

Он говорил по-французски, немного неуверенно, с итальянским акцентом; он произносил слова так медленно, что их можно было бы записать как под диктовку. У него был сильный, носовой голос, один из тех грубых, ворчащих голосов, которые так странно не гармонируют с тщедушным и слабым телом.

Пьер ограничился новым поклоном в знак глубокой благодарности, зная, что учтивость требует сохранять молчание, пока не будет задан прямой вопрос.

— Вы живете в Париже?

— Да, святой отец.

— Вы служите в большом приходе?

— Нет, святой отец, я лишь исполняю обязанность священника в маленькой церкви в Нельи.

— Да, да, я знаю... это в стороне Булонского леса? А сколько вам лет, мой сын?

— Тридцать четыре года, святой отец.

Наступило небольшое молчание. Лев XIII, наконец, опустил глаза. Он взял своей хрупкой рукой, как-будто сделанной из слоновой кости, стакан с сиропом, помешал в нем ложечкой и отпил глоток. И все это делалось тихо, благоразумно, как и вообще все то, что обдумывал и делал папа.

— Я прочел вашу книгу, сын мой, да... большую часть ее. Вообще, мне дают лишь выдержки, но одно интересующееся вами лицо дало мне весь том, умоляя меня пробежать его. Таким образом, я мог ознакомиться с вашей книгой.

При этих словах он сделал небольшой жест, в котором Пьер усмотрел протест против той замкнутости, в которой держали его, следя за тем, чтобы к нему не проникло ничто волнующее. Об этом говорил и сам монсеньор Нани.

— Я благодарю, ваше святейшество, за оказанную мне великую честь — осмелился тогда сказать священник. — Это высокое и всегда желанное мною счастье.

Он был так счастлив! Он воображал, что дело его выиграно, видя папу таким спокойным, без раздражения обсуждавшим его книгу, с которой он, видимо, основательно ознакомился.

— Неправда ли, мой сын, вы находитесь в близких отношениях с виконтом Филибером де-ла-Шу. Сначала я был поражен сходством некоторых ваших идей с идеями этого весьма преданного нашего слуги, который дал нам прекрасные доказательства своего ума и в других отношениях.

— Действительно, святой отец, господин де-ла-Шу утомляет меня своего расположения. Мы с ним много рассуждали, и нет ничего удивительного, если я воспроизвел несколько дорогих его мыслей.

— Конечно, конечно! Так, например, он много занимается вопросом о корпорациях, даже чересчур много. Во время своего последнего приезда он говорил со мной по этому поводу с редкой настойчивостью. В последнее время другой ваш соотечественник, прекрасный и выдающийся человек барон де-Фура, устроивший такое великолепное паломничество, настойчиво добивался свидания со мной и говорил по этому же вопросу около часу. Но, надо сказать, они вовсе не солидарны: один умоляет меня сделать то, чего другой совершенно не хочет.

С самого начала разговор отклонился в сторону. Пьер чувствовал, что они отдаляются от его книги; но он вспомнил о своем обещании, торжественно данном виконту, разузнать, если к тому представится случай, определенно мнение папы по поводу корпорации — должны ли они быть свободными или принудительными, открытыми или закрытыми. С той поры, как Пьер очутился в Риме, он получал письмо за письмом от несчастного виконта, прикованного падагрой к Парижу, между тем как его соперник, барон, воспользовавшись прекрасным случаем — паломничеством, во главе которого он был, старался добиться от папы одобрения и с торжеством привезти это одобрение домой. И молодой священник захотел добросовестно выполнить свое обещание.

— Ваше святейшество знает лучше всех нас, где истина. Господин де-Фура полагает, что разрешение рабочего вопроса заключается в том, чтобы просто восстановить прежние свободные корпорации; а господин де-ла-Шу находит, что корпорации должны быть обязательными, подчиненными государству и заново регламентированными. И без сомнения последнее решение вопроса гораздо больше согласуется с теперешними социальными течениями... Если бы ваше святейшество соизволил высказаться именно в этом смысле, то молодая католическая партия во Франции могла бы извлечь из этого прекрасные результаты, целое рабочее движение во славу церкви.

Лев XIII ответил со своим спокойным видом:

— Но я не могу этого сделать. Французы всегда просят меня о том, чего я не могу и не хочу сделать. Я вам разрешаю передать от моего имени господину де-ла-Шу, что, хотя я не могу удовле-

творить его, но и просьбы барона де-Фура я не исполнил. Он получил от меня лишь поручение передать мое благоволение французским рабочим, которые там много могут сделать для восставления веры. Поймите, что есть вопросы неважные, в которые я не могу входить, так как в противном случае придам им то значение, которого они не имеют и, сделав многое для одних, обижу этим других.

Он улыбнулся слабой улыбкой, в которой сказался тонкий и мудрый политик, нежелающий из-за бесполезных приключений рисковать своей непогрешимостью. И он снова отпил немного сиропу, вытер губы платком; вообще он имел вид закончившего свой деловой день властелина, который избрал этот ночной час для того, чтобы побеседовать на досуге, не торопясь, сколько ему вздумается.

Пьер постарался снова навести разговор на свою книгу.

— Господин виконт Филибер де-ла-Шу был так добр ко мне... он с волнением ожидает решения участи моей книги, как-будто бы это касалось его собственного произведения. Вот почему мне хотелось бы передать ему от имени вашего святейшества что-нибудь утешительное.

Но папа продолжал вытирать губы, не отвечая ни слова.

— Я познакомился с ним у его преосвященства кардинала Бержеро. Это — тоже человек с прекрасным сердцем. Его доброта и милосердие могут сделать многое в деле преобразования верующей Франции.

На этот раз слова подействовали.

— А кардинал Бержеро. Я прочел его письмо, которое помещено в начале вашей книги. Он очень плохо сделал, написав вам такое письмо, а вы, мой сын, виноваты, что напечатали его. Не думаю, чтобы кардинал Бержеро, посылая вам свое полное одобрение, был знаком с некоторыми страницами вашего произведения. Я предпочитаю предположить в нем незнание и легкомыслие. Как мог бы он одобрить ваши нападки на догму, ваши революционные теории, которые стремятся к полному уничтожению нашей святой религии. Если он прочел вашу книгу, то ему нет извинения, кроме разве того, что он был охвачен каким-то внезапным, необъяснимым, непростительным заблуждением. Правда, в некоторой части французского духовенства господствует очень дурное направление. Это все — галликанские идеи, которые постоянно пробиваются, как сорные травы, либерализм, возрастающий против нашего авторитета и постоянно стремящийся к свободному исследованию и сантиментальным бредням.

Он оживился; в его речи смешивались итальянские слова с французскими; его грубый носовой голос подобно звукам меди выходил из его тщедушного тела.

— Да будет господину кардиналу Бержеро известно, что мы ломаем его, когда окажется, что он не что иное, как взбунтовав-

шийся сын церкви. Он должен подавать другим пример послушания. Мы выразим ему наше неудовольствие и думаем, что он покорится. Без сомнения, смирение и милосердие — большие добродетели, которые мы всегда ценили в нем. Но не нужно, чтобы они служили убежищем для взбунтовавшегося сердца; они — ничто, если не сопровождаются послушанием; послушание — это лучшее украшение великих святых.

Пьер слушал его, весь охваченный волнением, страшно смущенный. О себе он забыл; он думал лишь о том добром, терпимо относящимся к ближним человеке, на которого он навлек негодование столь могущественного лица. Правду говорил дон Виджилио, что доносы епископов Пуатье и Эвре достигнут таки противника их ультрамонтанской непримиримости — доброго и кроткого кардинала Бержеро, душа которого открыта для всех бедных и несчастных. Пьер еще мог примириться с доносом тарбского епископа, который служил орудием в руках отцов Лурдского грота; этот донос касался лишь его самого, по крайней мере, в ответе на его заметки о Лурде; но эта подпольная война двух епископов возмущала его до глубины души. А в старике с птичьей шеей, спокойно пившем свой сироп, он видел теперь могучего разгневанного повелителя. Как обманчива внешность! Входя сюда, он думал, что видит перед собой бедного старика, отягченного годами, желающего лишь мира и спокойствия, и готового на всякие уступки. Как будто какое-то дуновение пронеслось по комнате. Это было новое пробуждение в его душе сомнений и страданий. Увы, он видел теперь папу таким, каким его описывали в Риме; он не хотел верить; но теперь должен был убедиться. Перед ним был человек, больше рассуждающий, нежели чувствующий, человек с непомерной гордостью, который с юных лет обладал огромным честолюбием, который заранее обещал своей семье победу, чтобы добиться от нее необходимых жертв; этот человек везде и во всем проявлял с тех пор, как занял папский престол, свою единую волю, хотел царствовать во что бы то ни стало, царствовать неорганиченно и беспредельно. Действительность явилась перед Пьером во всей своей неотразимости и все-таки он отворачивался от нее, упорствовал, хотел восстановить свою мечту.

— О, святой отец, мне будет так больно, если по вине моей злосчастной книги его высокопреосвященство переживет хоть одну горькую минуту. Я один виноват во всем и готов ответить за свою вину. Но его высокопреосвященство лишь поддался своему доброму сердцу; его грех — в том, что он слишком горячо любит всех обездоленных и несчастных. Умоляю вас, святой отец, если нужно кого-нибудь покарать, то покарайте лишь меня одного. Я здесь: решайте мою участь, но не отягчайте моего наказания — не заставляйте меня испытывать угрызения совести при мысли, что за меня пострадал невинный. Ради бога, выслушайте меня, святой отец! Не карайте ни меня, никого! Никого — ни живое существо, ни вещь, ничего, что может страдать. Будьте милосердным,

о, будьте милосердным всею той добротой, которую мировое страдание должно было развить в вас!

И видя, что Лев XIII все еще молчит, он бросился перед ним на колени, как бы придавленный тем страшным, возраставшим возбуждением, которое давило ему сердце. В его полной смятения душе неудержимой волной росли все сомнения, горести, страдания; они душили его. Этот печальный день, ознаменовавшийся трагической смертью Дарио и Бенедетты, ложился ему на душу тяжелым камнем. Бессознательная тоска, как свинцовой гирей, давила ему сердце. В этой тоске, как в фокусе, собралось все то, что он перенес со времени своего прибытия в Рим—и разбитые иллюзии, и глубочайшие раны души, попорченной реальной действительностью молодой энтузиазм.

— О, святой отец, я больше не существую и книги моей нет. Я хотел видеть ваше святейшество, чтобы об'ясниться, оправдать себя. А теперь — я не знаю, что сказать, я не нахожу ни одного слова... Я могу только рыдать... Слезы душат меня... Я сам — только бедный человек и хочу говорить с вами только о бедных. О, эти бедные, эти приниженные люди! Два года я вижу их в парижских кварталах, несчастных, страждущих: маленькие голодные дети, не евшие по двое суток, которых я подбираю в снегу, бедные маленькие ангелочки: чахоточные женщины без хлеба, без топлива, ютящиеся в грязных лачугах; мужчины, выброшенные безработицей на улицу, уставшие выпрашивать, как подаяние, работу, возвращающиеся к себе в свои мрачные конуры пьяными от злобы с одной мстительной мыслью — поджечь город со всех сторон... А тот ужасный вечер, когда я в одной комнате увидел мать, только-что убившую себя и своих пятерых детей — мать упала на матрац, кормя грудью ребенка, там же спали последним сном две девочки, две хорошеньких блондиночки; два мальчика, сраженные смертью — поодаль: один прислоненный к стене, другой — распростертый на земле, скорчившийся в последней борьбе... О, святой отец, я — только посол всех страждущих, я смиренный посланник всех смиренных, которых убивает нужда, которые гибнут под невыносимой тяжестью социального неравенства. Я приношу вам их слезы, повергаю к ногам вашим их муки, я передаю вам их стоны отчаяния, раздающиеся из глубины пропасти, взывающие к справедливости. Протяните им руку помощи — иначе само небо обрушится. О, будьте милосердны, святой отец, будьте милосердны!

Он простирал руки и молил о божественном милосердии. Он продолжал:

— Святой отец, а разве в этом вечном и блистательном Риме нужда не так же ужасна? Вот уже в продолжение нескольких недель я брожу среди славных развалин вечного города и постоянно наталкиваюсь на неизлечимые людские страдания, которые наполняют меня ужасом. О, я вижу, как все это уничтожается, погибает! Я вижу эту ужасную агонию, страшную тоску целого мира,

который умирает от истощения и голода!.. А там, под окнами вашего святишества — целый квартал ужаса и бедствий, ряд неоконченных дворцов, похожих на рахитических детей, которые никогда не могут вполне развиться, ряд уже разрушившихся дворцов, где находит себе пристанище вся жалкая нищета Рима. И здесь, как и в Париже, какая масса страдающих, голодных людей! И эта общественная язва, эта страшная всепожирающая рана обнаруживается в Риме с еще большим бесстыдством, в еще большей наготе. Целые семьи без работы и без хлеба живут под открытым небом; немощные старики, отцы семейств, ожидающие, чтобы им с неба свалилась работа; сыновья, забравшиеся в траву и спящие там; праздные, преждевременно увядшие матери семейств и дочери... О, святой отец, когда завтра вы откроете это окно, разбудите своим благословением этот спящий народ-дитя, погрязший в своем невежестве и нищете, вдохните в него душу, дайте ему совет, человеческое достоинство, сознание необходимости труда и братской, справедливой жизни. Сделайте людей из этого сборища несчастных, единственное оправдание которых — это та масса физических и душевных страданий, которые они выносят на своих спинах, которые делают их похожими на животных и умирающими без сознания, без понимания, получающими одни лишь удары.

Рыдания поступили к его горлу. Он продолжал, весь охваченный, потрясенный страстным порывом.

— Разве не к вам, святой отец, я должен обратиться от имени всех несчастных! Разве вы — не отец? Разве не должно посланнику, говорящему от лица всех бедных, пасть перед отцом на колени, как это делаю я перед вами? И к кому же ему идти с этой страшной ношей их страданий, как не к отцу! И у кого же, как не у отца вымаливать сострадание, помощь и правосудие, главное — правосудие?.. Ведь вы — отец. Так откройте же настежь ваши двери, чтобы весь мир мог войти, все люди до самого ничтожного из ваших сыновей. Пусть войдут к вам истинно верующие и случайные прохожие и даже возмущившиеся, впавшие в заблуждение, от которого вы, может быть, спасете их. Будьте убежищем, гостеприимным приютом для путников, будьте светочем, видимым издалека и спасающим во время бури. О, отец, вы — могущество, будьте же и спасением. Вы всемогущи, за вами — ряд веков владычества, вы обладаете нравственным авторитетом, который сделал вас судьей народов; и вот вы — передо мной во всем своем блеске как солнце, которое светит и питает. О, будьте светочем доброты и милосердия, будьте искупителем, возьмите на себя дело Христа, которое так искажено временем и попало в руки могущественных и богатых людей, превративших евангельское учение в гнусное орудие их гордости и тирании. Начните сызнова это дело, соединитесь с малыми мира сего, с бедными, униженными, водворите снова мир, братство, справедливость... И скажите, отец, что я правильно понял вас, высказал ваши заветные идеи, ваше

душевное желание, которое является главным и единственным стремлением вашего царствования, а остальное — моя книга, а сам — не все ли равно!

Далее Пьер не мог выдержать; он упал на землю, сотрясаясь от рыдания. И у ног этого безмолвного и неподвижного папы он олицетворял собою все людское страдание в слезах.

Лев XIII, который любил говорить и которому надо было сделать усилие, чтобы слушать других, сначала несколько раз поднимал свою бледную руку, чтобы прервать Пьера. Но мало-по-малу удивление его было возбуждено; ему передалось волнение Пьера и он позволил ему продолжать, довести до конца свой страдальческий вопль, отдаться неудержимому потоку, увлекавшему его. Немного крови прилило к бледному лицу Льва XIII, губы и щеки его слегка порозовели, его блестящие черные глаза еще более заблистали. Когда он увидел его, безмолвно распростертого у своих ног, услышал эти раздирающие душу рыдания, он взволновался. Наклонившись над Пьером, он проговорил:

— Сын мой, успокойтесь, встаньте...

Но рыдания не прекращались; они лишили Пьера рассудка, заставляли его забыть всякое уважение. Это был вопль раненой души, крик плоти, бьющейся в предсмертной агонии.

— Встаньте, мой сын, так не годится... Вот — стул, сядьте...

И властным жестом он пригласил его сесть. Пьер с трудом поднялся и сел, чтобы не упасть. Он отвел волосы, упавшие ему на лоб и начал руками утирать слезы. Он имел вид безумного. Он старался овладеть собой и не мог сообразить, что с ним только что произошло.

— Вы вызываете к святому отцу. О, конечно, будьте уверены, что его сердце полно сострадания и жалости ко всем несчастным. Но дело не в этом, — речь идет о нашей святой религии... Я прочел вашу книгу; это — дурная книга, — я говорю вам прямо, — одна из наиболее опасных и предосудительных книг, и именно в силу своих качеств, в силу внушаемого ею интереса, который в некоторых местах захватил даже меня самого. Да, и я часто бывал увлечен, я не продолжал бы чтения, если бы не чувствовал себя подхваченным горячим порывом вашей веры, вашего энтузиазма. Эта тема так прекрасна, так увлекает меня! «Новый Рим»!.. О, конечно, можно было бы написать книгу с таким же заглавием, но в духе совершенно противоположном тому, что написали вы. Вы думаете, мой сын, что поняли меня, что, проникнувшись моими сочинениями и делами, вы выразили мои заветные мысли. Нет, нет, вы меня не поняли, — и вот почему я хотел вас видеть, раз'яснить вам многое, переубедить вас. Меня не понимают, не понимают, — раздраженно и с нетерпением повторял Лев XIII. — В особенности во Франции. Удивительно, до чего им трудно понять меня!.. Например, — светская власть! как можете вы думать, что святейший престол когда-нибудь примирится с настоящим положением вещей? Это — речь, недостойная священника, это — химеры невежды,

который не отдает себе отчета в том, при каких условиях жило папство до сих пор и при каких условиях оно должно продолжать свое существование, чтобы вовсе не исчезнуть. Разве вы не видите софизма, заключающегося в ваших словах, когда говорите, что папство тем выше, чем больше освободится от забот, сопряженных с светской властью? Да, это — превосходная выдумка, чисто духовное царство при помощи милосердия и любви! Но кто заставит нас уважать тогда? Кто подаст нам хоть камень вместо милостыни, чтобы мы могли прислонить нашу голову, если когда-нибудь будем изгнаны? Кто обеспечит нашу независимость, когда мы будем игрушкой в руках государств? Нет, нет! Римская земля — наша, потому что мы ее наследовали от длинного ряда предков; и это — твердая, вечная почва, на которой зиждется святая церковь. Оставить ее — значит желать гибели католической, апостольской и римской церкви. К тому же мы связаны клятвой перед богом и людьми и не можем сделать этого.

Он замолчал на некоторое время, чтобы дать Пьеру возможность ответить. Но Пьер молчал; он не находил, что сказать.

— Вы прекрасно видите, — продолжал Лев XIII, — наше всегдашнее горячее стремление к объединению. Мы были очень счастливы, когда нам удалось объединить обряды, вводя римский ритуал во все католичество. Это большая победа для нас, так как она имеет большое значение для укрепления нашего авторитета. И я надеюсь, наши старания на Востоке увенчаются успехом и возвратят нам наших братьев диссидентских исповеданий; я не отчаиваюсь и в победе над англиканскими сектами, не говоря уже о протестантских, которые когда наступит время, назначенное Христом, будут принуждены войти в лоно единой католической апостольской и римской церкви. Но о чем вы не упомянули, так это о том, что церковь не может отступить ни от одного догмата; наоборот, вы, кажется, полагаете, что и с той, и другой стороны должны последовать уступки. Это — предосудительная мысль, высказывая которую священник делается преступником. Нет, истина — едина, и ни один камень из здания не будет заменен. О, в форме — все, что угодно. Мы готовы на самые большие уступки, если все затруднение заключается лишь в некоторых словах, выражениях... Это то же самое, что и наша роль в современном социализме; надо понять это. Без сомнения, те, которых вы так хорошо называли обездоленными в этом мире, составляют предмет наших попечений. Если социализм есть не что иное, как жажда правосудия, постоянное стремление притти на помощь слабым и страждущим, то кому же и заниматься этим, как не нам, кому же больше, как не нам работать с неослабевающей энергией в этом направлении? Разве церковь не была всегда матерью всех обиженных, бедных? Мы сторонники всякого разумного прогресса, мы согласны признать все новые социальные формы, которые помогут упрочению мира и братства... Но тот социализм, который для благоденствия людей прежде всего считает нужным устранить

бога, мы можем лишь осудить. Это — шаг назад, возмутительное возвращение к состоянию дикости, которое повлечет за собой всевозможные катастрофы, пожары, убийства. Об этом вы не упомянули с достаточной силой, вы не показали, что прогресс невозможен вне церкви, что она является единственным проводником всех прогрессивных начинаний, которым под ее руководством можно отдаваться без колебаний и опасений. Ваш проступок заключается еще и в том, что вы, как мне показалось, оставляете бога в стороне, что вера по вашему — лишь известное состояние души, исполненной любви и милосердия, и этого вполне достаточно, по вашему мнению, для достижения спасения! Это страшная ересь! Бог повсюду. Он владыко душ и телес; религия — это связь, закон, руководство для людей. Без нее в этой жизни остается лишь варварство, а в загробной — осуждение. И еще раз повторяю — неважна форма, достаточно, если останутся в неприкосновенности догматы. Наше примирение с республикой во Франции доказывает, что мы не желаем ставить религию в зависимость от формы государственного устройства. Пусть династии отжили свое время — бог остается вечным. Пусть погибают короли, лишь бы бог жил. Да и сам по себе республиканский образ правления не заключает в себе ничего противохристианского; напротив, он является как бы пробуждением той христианской общины, о которой вы говорите на поистине превосходных страницах вашей книги. Самое худшее это то, что свобода переходит сейчас же в своеволие и что часто нас очень плохо награждают за наше стремление к примирению... Ах, какую дурную книгу написали вы, сын мой, хотя вами и руководили — я этому охотно верю — самые благие желания! Ваше молчание служит красноречивым доказательством того, что вы начинаете сознать все разрушительные последствия вашей ошибки.

Пьер продолжал безмолствовать, подавленный, чувствуя как один за другим испаряются все его доводы. Ему казалось, что он находится перед глухой и непроницаемой скалой, которую он в бесполезном и смешном порыве хотел потрясти своими словами. К чему? Из этого все равно ничего не выйдет. Его занимал теперь лишь один вопрос: он с удивлением спрашивал себя, каким образом подобный человек, с таким умом и честолюбием, не составил себе более ясного и определенного понятия о современном положении дел. Царствовать, во чтобы то ни стало царствовать, повелевать всем миром, как некогда повелевал Август, кровь которого только и поддерживала этого умирающего, но властолюбивого старца.

— Кроме того, сын мой, — продолжал Лев XIII, — ваше преступление заключается еще и в том, что вы в вашей книге осмеливаетесь требовать новой религии. Это — нечестие, богохульство, оскорбление святыни. Есть только одна религия — наша святая римско-католическая апостольская религия. Вне ее — мрак и вечное осуждение. Я очень хорошо понимаю, что вы воображаете,

будто вам удастся возвратиться к первым временам христианства. Но нечестивое и незаконное заблуждение протестанства выродилось из того же предлога. Лишь только мы уклонимся от строгого соблюдения догматов, от безусловного уважения к традициям, мы неминуемо должны низвергнуться в страшную пропасть... О, ересь, о, ересь! Это — страшное преступление, сын мой, преступление, которому нет прощения, это — порождение ада, существующее для гибели людей. Если бы в вашей книге не было ничего другого, кроме этих слов о новой религии, ее следовало бы сжечь, уничтожить, как страшный яд для человеческих душ.

Он еще долго говорил. Но Пьер думал о другом: он вспоминал слова дон Виджилио, который рассказывал ему о всемогущих иезуитах, тайно из глубины Ватика правящих церковью. Неужели и этот папа политик, которого он считал последователем учения св. Фомы, пропитанный оппортунизмом, был послушным орудием в их гибких руках? Он ведь мирился с веком, шел в мир, соглашался мстить ему, лишь бы обладать им. Никогда еще Пьер не чувствовал так болезненно, что церковь может существовать лишь при помощи компромиссов и дипломатических комбинаций. Наконец то он постиг это римское духовенство, которое сразу не поддавалось пониманию французского священника, это церковное правительство, в лице папы, кардиналов, прелатов, которым бог вручил власть над людьми и над своим царством на земле. Они не допускают сомнений, споров о бытии божием. Он существует, так как они правят его именем. Этого вполне достаточно. Они провозглашают себя его именем властелинами, довольствуясь до поры до времени лишь подписыванием конкордатов, смиряясь перед силой, но ожидая дня, когда наступит их господство. А пока они действуют, как простые дипломаты и в качестве представителей религии занимаются медленным завоеванием человечества, чтобы царить над ним от имени бога, или, вернее, от своего собственного имени, так как они являются посланниками бога. А религия для них — одна лишь внешность, форма, пышные обряды и церемонии, которые так действуют на толпу, так покоряют ее. Они исходят из начал римского права, они — верные сыны этого языческого Рима, в их жилах течет кровь цезарей.

Пьеру сделалось стыдно своих слов. Ах, эти слабые нервы, эти приступы сентиментальной восторженности! Ему казалось, что он обнаружил свою душу во всей ее наготе. И так бесполезно, о боже, здесь, в этой комнате, где никогда ничего подобного не говорилось, перед этим царственным первосвященником, которому не были доступны такие слова! Политическая идея пап — царствовать при помощи униженных и бедных — внушала Пьеру ужас. Кормиться насчет народа, освободившегося от прежних властителей! Какая безумная идея — воображать, что римский прелат, кардинал или папа согласятся восстановить древнюю христианскую общину, вдохнуть новую жизнь в дряхлеющие общества, погрязшие в пороке и вражде. Это совершенно недоступно для

людей, которые в течение веков владычествовали над миром, исполненные беспечного презрения к несчастным и страдающим и, в конце-концов, совершенно непонимающие чувства любви и сострадания.

Лев XIII продолжал говорить. В ушах Пьера раздавался его грубый, неумолкавший голос.

— Зачем написали вы эти дурные страницы о Лурде? Лурд сын мой, оказал религии большие услуги. Я часто выражал желание, чтобы чудеса, совершавшиеся почти ежедневно в гроте, о которых мне рассказывали, были проверены и утверждены самой строгой наукой. И из того, что мне приходилось читать, я заключаю, что теперь самые неверующие умы не могут больше сомневаться, так как все эти чудеса доказаны научно... Наука, мой сын, должна быть служанкой бога. Она не может идти против него, так как только с его помощью она доходит до истины. Все современные теории, которые как-будто разрушают догматы, в конце-концов, будут признаны ошибочными и ложными и истина божия в предуказанное время восторжествует. А между тем, все это — очень простые истины, доступные пониманию маленьких детей; они могли бы дать людям мир и вечное спасение, если бы только люди поняли и приняли их... И будьте уверены, мой сын, что вера вполне совместима с разумом. Разве святой Фома не предвидел всего, не объяснял? Ваша вера была потрясена духом исследования. Вашим духом овладели смущение и тоска, от которых небо сохраняет пастырей здесь, в этом городе древней веры, освященном кровью стольких мучеников. Но нас не устрашает дух исследования, — изучайте, исследуйте, читайте внимательно святого Фому, и ваша вера возвратится к вам; это будет вера более крепкая, более прочная, непобедимая.

Пьер слушал эти наставления потрясенный, смущенный; ему казалось, что небо рушится ему на голову. О, боже правый! Лурдские чудеса научно доказаны... наука — слуга бога, вера совместима с разумом; св. Фома, дающий ответ на все вопросы современности!.. Как отвечать, боже, и для чего отвечать?

— Ваша книга — одна из наиболее предосудительных и опасных книг; уже одно ее заглавие — «Новый Рим» — является само по себе лживым и совращающим; книга еще более преступна и достойна осуждения, потому что написана превосходным слогом и изобилует соблазнительными и возвышенными химерами. Священник, написавший ее в минуту заблуждения, должен собственноручно публично сжечь ее.

Вдруг Пьер встал. В комнате, слабо освещенной и безжизненной, царило глубокое молчание. А там, снаружи — огромный, мрачный Рим, погруженный в ночную темноту, среди которой блистали мириады звезд. Пьер готов был воскликнуть:

«Да, это правда, — я потерял веру, но я думал, что обрету ее в том сострадании, которым наполнено было мое сердце при виде стольких страданий. Вы, отец, были моей последней наде-

ждой, — в вас я чаял найти спасителя. И вот, все это оказалось лишь мечтой; вы не в состоянии продолжать дело Христа, умиротворить людей накануне междоусобной войны, в которой брат восстанет на брата. Вы не можете оставить трон, пойти вместе с бедными и несчастными, осуществить великое дело братства. В таком случае, и вам, и вашему Ватикану — конец. Все рушится под напором растущего народа и расширяющейся науки. Вы больше не существуете. Здесь ничего нет, кроме развалин».

Но он не произнес этих слов. Он склонился и сказал:

— Святой отец, я подчиняюсь и отрекаюсь от своей книги.

Его голос дрожал, а руками он сделал движение, как-будто отрекался от самого себя. Эта была точная формула подчинения: *Autor laudabiliter te subiecit et opus reprobavit* — автор похвально подчинился и отрекся от своего произведения. Ничего не могло быть выше этого отчаяния человека, сознавшего свою ошибку и отказывающегося от лучших своих надежд. Но какая ужасная ирония судьбы! Он отказывался от книги, от которой поклялся никогда не отречься, из-за которой так страстно боролся; и отказывался он не потому, что считал ее вредной и преступной, а просто потому, что увидел, что это не более, как химера, мечта влюбленного, греза поэта. Он ошибся; он не нашел ни бога, ни священнослужителя, которых он мечтал обрести для счастья людей. К чему же упорствовать в своей мечте о несбыточном! Лучше отбросить от себя эту книгу, как ненужную вещь, отречься от нее, отсесть, как бесполезную, мертвую часть тела.

Немного удивленный такою быстрою победой, Лев XIII издал легкое восклицание удовлетворенности.

— Прекрасно, сын мой! Это — единственные разумные слова из всего того, что вы говорили до сих пор, — слова, достойные священника.

И папа, который подготовлялся к каждой аудиенции, все слова и жесты которого были строго взвешены и обдуманы, теперь обнаружил искреннее удовольствие, высказал свое настоящее добродушие. Не понимая искренней причины смирения этого, как ему рассказывали, страшного революционера, он радовался своей быстрой победе, которую он приписывал силе своих убеждений. И это очень льстило его самолюбию.

— Впрочем, сын мой, от вас, как от умного и развитого человека, я и не ожидал ничего другого. Нет большей радости, как сознать свою ошибку, раскаяться в ней и смириться.

Привычным движением он взял со столика свой стакан с сиропом и, прежде чем выпить последний глоток, помешал в нем позолоченной ложечкой. И Пьер с удивлением увидел перед собой самого обыкновенного хилого старика, одиноко попивавшего перед сном подслащенную воду. Образ могучего и величественного властелина исчез. Так солнце, бесконечно возвышающееся над людьми в полдень, во время заката становится в один уровень с землей. Перед Пьером снова был тщедушный слабый старик с тонкой шеей больной птицы, с некрасивой старческой наруж-

ностью, которую так трудно было передать на портретах, фотографиях, золотых медалях и мраморных бюстах; а он, между тем, требовал, чтобы на его изображениях был увековечен не Печчи, а великий папа Лев XIII. И Пьеру снова бросился в глаза лежавший на коленях носовой платок и несвежая сутана, покрытая табачными пятнами.

— Благодарю, ваше святейшество за тот отеческий прием, которым вы удостоили меня.

— Идите с миром, сын мой! — сказал, наконец, папа. — Ваш грех будет вам отпущен, так как вы сознали его и поняли весь его ужас.

Не отвечая ни слова, с отчаянием в душе, принимая унижение как заслуженную кару за свои фантастические грезы, Пьер направился к выходу. Согласно этикету он отступал, не поворачиваясь спиной к папе. Он трижды низко поклонился и, не поворачиваясь, провожаемый пристальным взглядом папы, вышел в дверь. Он видел, как папа взял журнал и принялся за прерванное его приходом чтение. Папа сохранил интерес к прессе, его очень занимали все новости; хотя часто он придавал некоторым статьям значение, которого они не имели. Две лампы горели тихим неподвижным светом. В комнате снова водворились глубокая тишина и бесконечное спокойствие. Посредине секретной передней неподвижно стоял господин Сквадра, весь в черном и ожидал. Видя, что Пьер, расстроенный и подавленный, забыл захватить оставленную им на консоле шляпу, он осторожно взял эту шляпу и с молчаливым поклоном подал ее Пьеру. Затем без всякой торопливости, тем же шагом, что и прежде, он пошел впереди Пьера, чтобы проводить его в зал Климента.

Началось обратное шествие по этим бесконечным залам.

До сих пор господин Сквадра ни разу не обернулся. Теперь он молча пропустил Пьера вперед, сделал последний поклон и исчез.

Пьер очутился на площади св. Петра, один среди этой мрачной пустыни. Ни одного запоздавшего прохожего, ни одного живого существа.

Пьер, неподвижно стоявший среди этого обширного пространства, вздрогнул всем своим бедным и разбитым телом. Как! Всего три четверти часа несполна он разговаривал вон там, наверху, с этим белым старцем, и тот успел за это время вырвать у него всю душу? Да, он ее окончательно вырвал; он вырвал из его мозга, из его истекающего кровью сердца последние остатки веры. Последний опыт был сделан; весь его духовный мир рухнул. Вдруг он вспомнил про монсиньора Нани; он один оказался прав, ему говорили, что, в конце-концов, он сделает так, как захочет монсиньор Нани. И теперь он с удивлением убеждался, что поступил именно так. Но вдруг им овладело такое отчаяние, такая ужасная тоска, что он среди этой мрачной бездны простер свои руки и вскричал:

— Нет, нет, здесь нет тебя, о бог жизни и любви, бог спасения! Приди же, я жду тебя, потому что твои дети умирают, не познав тебя!

X

Пьер заснул только на рассвете, измученный, разбитый. Когда он среди глубокой ночи возвратился во дворец Бокканера, он застал весь дом в глубоком трауре по случаю смерти Дарио и Бенедетты. Проснувшись около девяти часов утра и позавтракав, он решил сейчас же сойти в помещение кардинала, где лежали тела двух несчастных молодых людей. Доступ туда был свободен, и все — и семья, и друзья, и знакомые — могли проститься с ними и помолиться о них.

Пьер хотел поскорее уехать из этого города, где он утратил последние остатки своей веры. Он уехал бы во Францию в тот же вечер, но желал подождать похорон и остался до следующего вечера. Итак, этот день ему придется провести еще в этом разрушающемся дворце, подле тела той, которую он любил; он должен будет стараться отыскать в своем опустевшем сердце молитвы за упокой ее души. Когда он сошел на площадку перед приемными покоем кардинала, ему вспомнился день, когда он впервые явился сюда. Это было то же ощущение древней роскоши, роскоши былых времен. Двери трех огромных прихожих были настежь раскрыты; залы с высокими темными потолками были еще пусты. В первой прихожей находился один Джакомо в черной ливрее; он стоял неподвижно против древней красной кардинальской шляпы, висевшей под балдахином, кисти которой были наполовину изъедены и покрыты паутиной. Во второй прихожей, где обыкновенно находился секретарь, теперь в ожидании посетителей ходил маленькими неслышными шагами аббат Папарелли, кардинальский шлейфносец, исполнявший также и обязанности дворецкого. Никогда он не походил так, как теперь, на старую деву в черной юбке, поблекшую, морщинистую, с притворным смирением, с лицемерной угодливостью. Наконец, в третьей почетной передней, где против портрета кардинала, изображенного в церемониальной одежде, лежал на столе кардинальский берет, находился секретарь, дон Виджилио; он не сидел, как обыкновенно, за своим небольшим рабочим столиком, а стоял возле дверей тронной залы, чтобы приветствовать посетителей. В это темное зимнее утро эти залы казались еще более мрачными и обтрепанными; обои во многих местах ободрались и висели лоскутьями; немногочисленная мебель была покрыта пылью; старинная резьба изъедена червями; одни только потолки сохранили свою великолепную позолоту и живопись.

Пьер приблизился к постели умерших. Его сердце сжималось от волнения. Эти две свечи, тускло горевшие при бледном свете дня, эти жалобные звуки богослужения, этот тяжелый аромат

роз, — все это наполняло душу бесконечной печалью, придавало всему в этом старинном зале траурный оттенок. Царило гробовая тишина, лишь изредка прерываемая сдавленным рыданием кого-либо из присутствовавших. Слуги дома беспрестанно сменялись; четверо неподвижно стояли у изголовья постели, как старые, верные фамильные стражи.

Пьер преклонил колени. И губы его машинально стали шевелиться; он старался припомнить привычные латинские молитвы, которые ему так часто приходилось произносить у изголовья мертвых. Но теперь, возраставшее волнение путало его память; он весь превратился в зрение и не мог оторвать своего взгляда от трогательного и ужасного зрелища, которое представляли из себя тела двух влюбленных. Под сплошным покровом из роз с трудом можно было различить тела; видны были только две головы. И как были они прекрасны, лежа на одной подушке! Их волосы переплетались, а на лицах лежал отпечаток удовлетворенной страсти. Бенедетта сохранила улыбающееся выражение лица любящей и верной до гроба женщины, последний вздох которой — поцелуй любви. На лице Дарио лежал более мрачный отпечаток; подобный оттенок бывает на лицах надгробных статуй, которые осиротевшие любящие женщины тщетно сжимают в своих объятиях. Глаза Дарио и Бенедетты были открыты, и они, не отрываясь, смотрели друг на друга с нежной лаской, которую теперь ничто не могло смутить.

Он скрылся в глубокой амбразуре окна, желая немного оправиться. К своему удивлению он нашел там Викторину, сидевшую на скамейке, которая была наполовину скрыта. Донна Серафина дала ей инструкции, а она зорко следила за всем, что происходило, не отрывала глаз от своих дорогих деток, как называла она покойных, но в то же время не выпускала из виду всех, входивших и выходивших. Видя, что молодой священник страшно бледен и близок к обмороку, она тотчас усадила его.

— Ах, — сказал он тихо, немного оправившись, — пусть будет у них хоть та радость, что они вместе будут там, вместе окончат в будущей жизни!

Она осторожно повела плечами и тоже очень тихо ответила:

— О, господи аббат, к чему оживать. — Когда человек умер, то, право, лучше быть мертвым и спать. Бедные дети достаточно страдают на земле. Зачем еще желать, чтобы все это возобновилось и в том мире?

Эти самые глубокие слова темной неверующей заставили Пьера изрогнуть. А он сам? Иной раз ночью при появлении страшного признака небытия его зубы стучали от ужаса. И эта женщина, которая так спокойно относилась к вопросам вечности и бесконечности, казалась ему героиней. Ах, если бы у всех было это спокойное неверие, эта мудрая и веселая беззаботность, которой обладает простой французский народ! Какое спокойствие

водворилось бы тогда среди людей, какая наступила бы счастливая жизнь!

Она почувствовала его волнение и прибавила:

— Что же вы хотите, чтобы было еще после смерти? Мы заслужили право на спокойный сон; ведь это — самое желательное и самое утешительное. Если бы богу надо было еще награждать добрых и наказывать злых, то, право, у него было бы слишком много дела. Да разве возможно соблюсти в данном случае справедливость? Ведь добро и зло так перемешаны в каждом человеке, что самое лучшее было бы всех оправдать. А эту женщину, — спросила она тише, — вы не узнаете?

Взглядом она указала на молодую, бедно одетую девушку, которую Пьер принял за служанку и которая лежала на полу возле погребальной кровати, подавленная безысходным горем. В порыве безграничного отчаяния она закинула назад свою голову, и Пьер увидел лицо необыкновенной красоты, обрамленное чудными черными волосами.

— Пьерина! — воскликнул он, — бедная девушка!

Викторина сделала жест, выражавший сострадание и снисходительность.

— Ну что ж? Я ей позволила войти сюда... Не знаю, как она узнала о несчастье. Положим, она постоянно бродит около дворца. Она вызвала меня и если б вы видели, как она умоляла меня, с какими рыданиями упрашивала позволить ей еще раз увидеть своего князя!.. Боже мой! Кому причиняет она зло, лежа там на полу и глядя на покойников своими прекрасными, любящими, полными слез глазами? Она здесь уже полчаса. Я пригрозила, что прогоню ее, если она не будет хорошо себя вести. Но она ведет себя хорошо. Пусть себе остается, пусть выплачется вволю!

Действительно, это было глубоко трогательное зрелище — эта Пьерина, бедная, невежественная девушка, охваченная страстью, сияющая красотой, сраженная ударом судьбы — распростертая перед этим брачным ложем, на котором двое влюбленных спали сном вечности. Она в изнеможении опустилась на землю; ее руки бессильно висели; неподвижное лицо застыло с выражением смертельной тоски; ее глаза не могли оторваться от трагической мертвой четы. Ничего нельзя было себе вообразить прекраснее этого чудного лица, одухотворенного страданием и любовью, с царственным лбом, прелестными щеками и божественным ртом. Она походила на античное изваяние печали, только оживленное, трепещущее. О чем думала она? Что чувствовала, глядя на своего князя, покоившегося в объятиях соперницы? Наполняла ли ее страшная, леденящая кровь, ревность? Или же это было лишь страдание от такой потери, от мысли, что она видит его в последний раз? И, быть может, к этому чувству не примешивалось ни капли ненависти к этой другой женщине, которая тщетно старалась согреть его в своих мертвых объятиях. Но глаза девушки,

несмотря на ее страдание, оставались нежными, губы, сложившиеся в горькую улыбку, сохраняли свое кроткое выражение. Усопшие казались ей такими чистыми, такими прекрасными среди этих цветов! И она пребывала здесь, сияя своей царственной красотой, которой не сознавала, пребывала тихо, без единого вздоха, в качестве бедной служанки, в качестве влюбленной рабы, у которой ее господя, умирая, вырвали сердце.

Пьер остался сидеть на одном из кресел, охваченный таким утомлением и такой грустью, что всякое движение было ему неприятно. Дон Виджилио продолжал принимать посетителей, отвечивая каждому глубокий поклон. Ночью с ним сделался припадок лихорадки и он все еще дрожал от нее, и стоял теперь с сильно пожелтевшим лицом и горящими, тревожно озиравшимися глазами. Он постоянно оглядывался на Пьера, как бы снedaемый страстным желанием заговорить с ним; но страх, что аббат Папарелли увидит его через широко открытую дверь соседней передней подавлял в нем, несомненно, это желание, потому что он не переставал ни минуты следить за шлейфоносцем. Наконец, последний вышел из комнаты, и дон Виджилио подошел к священнику.

— Вы были вчера вечером у его святейшества...

Пьер с удивлением посмотрел на него.

— О, здесь все бывает известно, я вам уже говорил это... Что же вы сделали? Вы просто-на-просто из'яли вашу книгу не правда ли?

Возрастающее изумление священника заставило дон Виджилио повидимому убедиться в справедливости его догадки, потому что он не дал Пьеру времени ответить.

— Я так и думал, но мне хотелось получить уверенность... Ах, как видно сейчас, что это дело их рук! Верите ли вы мне теперь, убеждены ли вы, что они душат тех, кого им не удастся отравить?

Дон Виджилио, должно быть, говорил о иезуитах. Осторожно оглядев все вокруг и убевившись, что аббат Папарелли еще не вернулся, он спросил:

— Ну, а что же сказал вам монсиньор Нани?

— Виноват, — ответил, наконец, Пьер, — я еще не видел монсиньора Нани.

— А-а! А я думал... Он прошел через эту залу до вашего прихода. Если вы не видели его в тронном зале, то, значит, он отправился к донне Серафине и к его высокопреосвященству. Обратнo итти он будет, вероятно, через эту комнату, вы его увидите.

И затем, со свойственным слабым, запутанным и всегда побеждаемым людям злорадством он прибавил:

— Я вам всегда предсказывал, что вы сделаете, так как он захочет.

И Пьеру вдруг стало ясно, какой хитрой и тонкой политикой монсиньор Нани привел его к тому, что он сам добровольно отка-

зался от своей книги. Сначала это был энергичный протест против преследования книги, беспокойство за экзальтированного автора, который в своем упорстве мог пойти против всех и этим навлечь на себя неприятности; потом им был выработан целый план. Он собрал все сведения о молодом священнике, способном впасть в ересь, устроил его путешествие в Рим, сделал так, что его пригласили в старинный дворец, одни стены которого могли охладить его пыл и вразумить его. Затем — эти постоянные препятствия, которыми тормозили его свидание с папой, обещания устроить это столь желанное свиданье — все это делалось для того, чтобы продлить его пребывание в Риме; а в это время его повсюду водили, сталкивали со всеми, начиная с монсиньора Форнаро вплоть до отца Данжелиса, от кардинала Сарно до кардинала Сангвинетти. А когда он был потрясен всем виденным, измучен, разочарован в жизни и людях, снова об'ят своими сомнениями, ему, наконец, разрешили аудиенцию, которая должна была окончательно убить все его мечты. Пьер так и видел перед собой Нани с его тонкой усмешкой и светлыми глазами мудрого политика, который забавлялся психологическим опытом; в ушах Пьера звучал немного насмешливый голос этого человека, который постоянно твердил, что эти проволочки — по-истине милость провидения; они дали ему возможность ознакомиться с Римом, хорошенько подумать, поразмыслить; это для него — хорошая жизненная школа, которая впоследствии даст ему возможность избежать многих ошибок. А он, Пьер, приехал сюда с энтузиазмом апостола, горя желанием вступить в бой, клянясь, что никогда не отречется от своей книги! Разве это не тончайшая дипломатическая комбинация? Сделать так, что его чувство разбилось о его собственный же рассудок; дать его мыслям такое направление, которое должно было заставить его после знакомства с реальным Римом понять всю нелепость своих мечтаний о новом Риме и добровольно отказаться от своей книги.

В эту минуту Пьер действительно увидел монсиньора Нани, который шел из тронного зала; при виде его Пьер не почувствовал злобы или раздражения, как он ожидал. Наоборот, он испытал большое удовольствие, когда прелат, заметив его, подошел и протянул ему руку. Но на этот раз монсиньор Нани не улыбался по своему обыкновению, а имел серьезный и удрученный вид.

— Ах, мой дорогой сын, какое ужасное событие! Я возвращаюсь от его высокопреосвященства... он весь — в слезах. Это ужасно, ужасно!

Он сел на одно из кресел и пригласил священника сделать то же. Некоторое время он безмолствовал; вероятно, волнения и мрачные мысли, омрачавшие его ясное лицо, утомили его, и он нуждался в нескольких минутах отдыха. Потом он сделал жест, как бы отгоняя от себя неприятные размышления, и снова приобрел свой обычный любезный тон.

— Ну, что мой дорогой сын, видели вы его святейшество?

— Да, монсиньор, вчера вечером. Благодарю вас за вашу доброту и за содействие, которое вы оказали мне и благодаря которому я достиг того, чего так желал.

Нани пристально поглядел на него, и на его губах появилась невольная улыбка.

— Вы меня благодарите... Я вижу, что вы были благоразумны и сложили свою волю у ног его святейшества. Я заранее был в этом уверен и, зная ваш ум, не ожидал от вас ничего другого. Но все же своим сообщением вы доставляете мне большое удовольствие, так как даете мне возможность убедиться, что я в вас не ошибся.

— Еще раз благодарю вас, монсиньор, за то, что вы с таким искусством опытного хирурга освободили меня от моих нелепых иллюзий. Потом, когда боль после операции совсем утихнет, я сохраню к вам вечную признательность.

Монсиньор Нани продолжал с улыбкой смотреть на него. Он отлично понимал, что этот молодой священник, обладавший большой нравственной силой, был потерян для церкви. Что сделает он впоследствии? Вероятно, какую-нибудь новую глупость. Но прелат не мог предвидеть будущего; он довольствовался тем, что помог ему исправить первую ошибку. И он сделал красивый жест, означавший, что каждый день имеет свои собственные заботы.

— Позвольте мне, дорогой мой сын, дать вам маленькое наставление, — сказал он в заключение. — Будьте благоразумны! Ваше благополучие как священника и как человека заключается в смирении. Вы будете очень несчастны, если свой ум, который дан вам богом, обратите против него.

Монсиньор Нани встал и начал сердечно прощаться с Пьером.

— Мой дорогой сын, я не рассчитываю встретиться с вами еще раз. Желаю вам счастливого пути...

Но он не уходил, он продолжал смотреть на Пьера своим пронизательным взглядом. Он снова усадил его и сел сам.

— Скажите, ведь вы, вероятно, по возвращении своем во Францию, пойдете засвидетельствовать свое почтение кардиналу Бержеро... Пожалуйста, напомните ему обо мне. Я немного был знаком с ним; мы познакомились, когда он приезжал сюда за кардинальской шапкой. Это одна из наиболее светлых личностей среди французского духовенства... О, если бы такой ум захотел поработать для водворения согласия в нашей святой церкви! К несчастью, я боюсь, чтобы он не заразился предрассудками своей расы и среды. Он не всегда нам помогает.

Нани никогда не говорил так с Пьером о кардинале; поэтому Пьер слушал с любопытством. Затем он перестал стесняться и сказал совершенно искренно:

— Да, взгляды его высокопреосвященства на нашу старую французскую церковь очень определенны... Так, например, он питает отвращение к иезуитам...

Монсиньор Нани прервал его, издав легкое восклицание. Он имел вид искренно удивленного человека.

— Как! отвращение к иезуитам. — Но кого же теперь могут беспокоить иезуиты. — Их песенка спета! Разве вы видели их в Риме? Помешали ли вам хоть в чем-нибудь эти иезуиты, которым теперь даже голову некуда склонить.... Волноваться теперь из-за этого, бояться этого пугала — ребячество!

Пьер, в свою очередь, глядел на него; он был восхищен той ловкостью и спокойной смелостью, с какой коснулся этого жгучего вопроса. Нани не спускал глаз; его лицо оставалось открытым и искренним.

— О, если под иезуитами вы подразумеваете всех благоразумных священников, которые, вместо того, чтобы вступать в жестокую борьбу с современным обществом, стараются мирным путем вернуть его в лоно церкви, то, боже мой, в таком случае, все мы, более или менее, — иезуиты, так как было бы безумием вовсе не считаться с эпохой, в которой живешь... О, я не пугаюсь выражений! Да, если вам угодно, — иезуиты!

Он снова улыбнулся своей приятной, тонкой усмешкой, в которой было столько юмора и столько ума.

— Так вот, когда вы увидите кардинала Бержеро, скажите ему, что он поступает неблагоразумно, преследуя во Франции иезуитов и считая их врагами нации. Совсем наоборот; иезуиты — друзья Франции, потому что они сторонники богатства, силы и смелости. Франция — единственное большое католическое государство, сохранившее свою независимость, на которое папство впоследствии будет иметь возможность опереться. И разве сам святой отец не заключил союза с только что побежденной Францией, отказавшись от мысли найти опору в победоносной Германии и создавая, что только Франция может послужить спасением для церкви? И в этом случае он следовал политике иезуитов, тех самых иезуитов, которых ваш Париж так ненавидит... Кроме того, скажите кардиналу Бержеро, что ему следовало бы поработать над делом всеобщего умиротворения, раз'яснить, как неправа ваша республика, не помогая отцу в его миролюбивой политике. Франция игнорирует папу, и это — опасная ошибка для всякого правительства, потому что если папа и лишен политического могущества, то, во всяком случае, он — большая нравственная сила, которая каждую минуту может пробудить в людях совесть, поднять огромные религиозные движения. Все-таки он распоряжается людьми, потому что он имеет власть над душами, и республика поступает очень легкомысленно, даже с точки зрения своих собственных интересов, делая вид, что она не замечает всего этого... Наконец, скажите ему, что жаль смотреть, каких ничтожных людей республика назначает епископами; кажется, будто она нарочно хочет ослабить епископат. За немногими исключениями ваши епископы, а, следовательно, и кардиналы — большие посредственности, и не имеют здесь в Риме никакого влияния. Во время

конклава вам придется играть весьма печальную роль. Зачем вы с такой безрассудной ненавистью относитесь к иезуитам, которые являются вашими политическими друзьями? Почему не хотите вы направить их мудрое усердие на то, чтобы обеспечить себе поддержку будущего папы? Это для вас необходимо; для вас необходимо, чтобы будущий папа продолжал у вас дело Льва XIII, дело так плохо понятое вами, которое не гонится за немедленными результатами, а имеет в виду будущее единство всех народов, соединенных единой святой церковью... Скажите же кардиналу Бержеро, чтобы он был с нами заодно, чтобы он работал для своей страны, работая для нас. Будущий папа! — в этом вся суть. И горе для Франции, если в будущем папе она не найдет продолжателя дела Льва XIII!

Он снова встал, на этот раз уже для того, чтобы уйти. Он никогда еще не высказывался так откровенно и пространно, но видно было, что он сказал то, что заранее собирался высказать с ему одному известными целями. Чувствовалось, что каждое его слово заранее взвешено и обдумано.

— Прощайте, мой дорогой сын. Еще раз подумайте обо всем, что вы видели и слышали в Риме, и будьте благоразумны и не портьте своей жизни.

Пьер поклонился и пожал пухлую, гибкую руку прелата.

— Еще раз благодарю вас, монсиньор, за вашу доброту. Будьте уверены, что я ничего не забуду из своего путешествия.

Он смотрел, как монсиньор Нани удалялся легким шагом в своей тонкой сутане; он шел так, как будто все его будущие сражения выиграны. Нет, нет, Пьер ничего не забудет! Он понимал теперь, что это за будущее единение народов под эгидою матери-церкви, — это земное рабство, в котором закон христа превратится в орудие власти Августа — владыки мира. Он не сомневался, что иезуиты любят Францию: она старинная дочь церкви, она одна может помочь своей матери-церкви завоевать всемирное господство; но они любят ее так, как саранча любит хлебные нивы, на которые она набрасывается и которые пожирает. Бесконечная грусть наполнила его сердце; смутное чувство говорило ему, что и в этом старом дворце, сраженном горем и погрузившемся в глубокий траур они, иезуиты, являются виновниками страдания и разрушения.

В тронной зале, куда вошел Пьер, он нашел тот же глубокий траур, то же непоправимое горе. Одна служба следовала за другой; возносились постоянные молитвы, испрашивалось божье милосердие для двух дорогих душ. И среди аромата увядавших роз, перед бледными огоньками двух свечей, Пьер стал думать об этом окончательном падении дома Бокканера. Дарио был последний в роде. С ним исчезало имя Бокканеро, такое могучее, такое известное в истории. Вполне понятна была любовь кардинала, у которого родовая гордость оставалась единственным грехом, к этому,

слабому юноше, последнему в роде, который один мог оживить вымиравшую фамилию; и если кардинал и донна Серафина добились развода и затем заключения брака, то это делалось не столько ради прекращения скандала, сколько ради того, чтобы эти два молодые существа, вступив в брак, произвели новое здоровое поколение.

Пьер сообразил, что ему, как близкому в доме человеку, следует пойти к донне Серафине и кардиналу. Он велел проводить себя в соседнюю комнату, где принимала княжна. Княжна вся в черном, худая, прямая сидела в кресле. Всякий раз, как кто-нибудь входил, она вставала со своего места и отвечала на приветствия. Молча, с суровым видом гордой скорби, выслушивала она слова участия, но Пьер, научившийся ее понимать, догадывался о том, что происходило внутри ее. По ее осунувшемуся лицу, по безжизненным глазам, по горькой складке около рта, он понял, что в ее душе все обвалилось, все рухнуло, что у нее не осталось больше никаких надежд. Род ее прекратился; брат ее не будет папой никогда; мечта всей ее жизни, которой она отдавалась всем своим сердцем, ради которой она готова была пожертвовать всем, — рушилась. И среди всех ее горестей эта, может быть, была для нее самой чувствительной. При входе молодого священника она встала, как это делала по отношению ко всем своим гостям; но в ее приветствиях замечались известные оттенки; Пьер почувствовал, что в ее глазах он не более, как маленький французский священник, занимающий незначительное место в ряду служителей церкви, не сумевший даже возвыситься до звания прелата. С легким наклоном головы она выслушала его приветствие и села; он из вежливости продолжал еще некоторое время стоять. Ни один звук, ни одно слово не нарушили гробового молчания, царившего в комнате.

Пьеру стало тяжело дышать, он почувствовал сильное сердцебиение. Он поклонился и вышел. Проходя через столовую, чтобы попасть в рабочий кабинет кардинала, где последний принимал, Пьер столкнулся с аббатом Папарелли, который ревниво охранял дверь.

Заметив Пьера, шлейфносец, казалось, понял, что ему нельзя будет отказать в приеме. Да к тому же этого пришельца, который завтра со стыдом и срамом уедет, нечего было бояться.

— Вы желаете видеть его высокопреосвященство? Хорошо, хорошо!.. Сейчас. Подождите!

И, боясь, чтобы Пьер, слишком близко подойдя к двери, не расслышал чего-нибудь, он оттолкнул его в другой конец комнаты.

— Его высокопреосвященство заперся с кардиналом Сангвинетти... Подождите, подождите там!

Действительно, Сангвинетти сначала очень долго стоял на коленях перед усопшими в тронной зале. Затем он долго оставался у донны Серафины с целью подчеркнуть свое участливое отноше-

ние к семейному горю. А теперь он уже больше 10 минут сидел у кардинала; из-за дверей по временам доносился гул двух голосов.

Пьеру, когда он увидел Папарелли, снова вспомнилось все то, что ему говорил дон Виджиллио. Он смотрел на этого толстого, короткого, заплывшего жиром сорокалетнего человека, с лицом изрытым морщинами, в грязной сутане, и находил в нем сходство со старой девой. Он удивлялся, как мог кардинал Бокканера, этот гордый князь с высоко поднятой головой, поддаться влиянию такого отвратительного и низкого существа. Быть может, это именно физическое уродство и нравственное смирение поразили, взволновали и, наконец, покорили кардинала, показали ему теми необходимыми для спасения качествами, которых не доставало ему самому. Это бичевало его собственную красоту, его собственную гордость. Он сам не мог сделаться таким безобразным, не мог победить своего стремления к славе; и усилиями своей веры он был доведен до того, что стал завидовать этому жалкому уроду, стал им восхищаться, стал видеть в нем силу — силу обиженного судьбой человека, перед которым раскрываются двери царства небесного. Кто может сказать, почему иной раз урод приобретает такую власть над героем, каким образом святой, покрытый рубищем и внушающий ужас, овладевает душами могущественных людей, охваченных страхом при мысли о расплате в будущей жизни за их земные наслаждения? И все это производило такое впечатление, как будто ничтожный, незаметный червь пожирал сильного и прекрасного льва. О, кардиналу казалось так заманчиво походить на этого несчастного Папарелли, обладать такой прекрасной душой, которую ожидает райское блаженство, которая для своего же блага заключена в это безобразное тело; как хорошо обладать смирением этого мудрого теолога, который каждое утро подвергает себя бичеванию и который удовлетворяется своим низким положением! Это заплывшее жиром существо не сводило с Пьера своих маленьких глазок, мигавших среди бесчисленного количества морщин. Пьером начинало овладевать беспокойство — о чем могли так долго беседовать два кардинала, запершись наедине? Что за свидание могло быть у этих двух людей, если Бокканера подозревал Сангвинетти в близости с Сантобоно? Какой наглостью должен был обладать один из них для того, чтобы осмелиться явиться сюда, и какая сила воли и самообладание были у другого, который во избежание скандала принимал этого посетителя, делая вид, что считает его визит простым проявлением участия к семейному горю! Но о чем могли они говорить? Как интересно было бы их увидеть вместе, послушать, как они обмениваются корректными фразами, приличествующими обстановке, в то время как их души полны ненависти одна к другой!

Вдруг дверь открылась и появился кардинал Сангвинетти. Его лицо было спокойно; он не был краснее, чем обыкновенно; напротив, скорее он был немного бледнее; он сохранил печальный вид настолько, насколько считал это нужным. Только в его беспокой-

ных глазах просвечивала радость человека, отделавшегося от очень тяжелой обязанности. Он уходил в надежде, что теперь он — единственный возможный в будущем папа.

Аббат Папарелли засуетился.

— Если вашему высокопреосвященству будет угодно следовать за мной... Я провожу ваше высокопреосвященство...

Обернувшись к Пьеру, он сказал:

— Теперь вы можете войти.

Пьер посмотрел им вслед. Один — смиренный — позади другого — торжествующего. Затем он вошел и сейчас же заметил кардинала Бокканера, стоявшего посреди узкого рабочего кабинета, в котором находился лишь простой стол и три стула; кардинал стоял в гордой и величественной позе, которую он принял при прощании с Сангвинетти, своим соперником на папский престол. И видно было, что и Бокканера считал себя единственным возможным папой, которым его сделает будущий конклав.

Но когда дверь закрылась за кардиналом Сангвинетти, и Бокканера очутился лицом к лицу с этим молодым священником, который присутствовал при смерти его дорогих детей, спавших в соседней зале мертвым сном, им овладело невыразимое волнение; внезапная слабость охватила его; вся его энергия исчезла. Теперь, когда здесь не было его соперника, человеческая природа брала свое. Он зашатался, как старое могучее дерево под ударами топора, опустился на стул и разразился рыданиями. И когда Пьер, согласно церемониалу, наклонился, чтобы поцеловать изумруд на перстне кардинала, последний поднял Пьера и прерывающимся голосом заставил его сесть против себя.

— Нет, нет, мой дорогой сын, садитесь вот сюда... Подождите немножко... Извините меня, у меня разрывается сердце от горя...

Он рыдал, сжимая своими еще сильными руками свои щеки и виски, не будучи в состоянии овладеть собой, подавить свою печаль.

На глазах Пьера появились слезы. Перед ним ожили печальные происшествия последних дней. Он был взволнован, видя плачущим этого могучего старца, этого всегда гордого и владеющего собой князя, который теперь в своем ужасном страдании не сильнее ребенка. Пьер хотел как-нибудь выразить ему свое участие, он подыскивал слова, которые хоть сколько-нибудь облегчили бы горечь его отчаяния.

— Умоляю вас, ваше высокопреосвященство, поверьте мне, что я чувствую глубокое горе. Вы были так добры ко мне, и я хотел бы высказать вам, насколько это непоправимая утрата...

Но властным жестом кардинал заставил его замолчать.

— Нет, нет, не говорите ничего, ради бога, не говорите ничего!

Воцарилось молчание. Кардинал плакал, тщетно стараясь овладеть собой. Наконец, он поборол свое волнение, медленно открыл свое лицо, получившее мало-по-малу умиротворенное выра-

жение, которое свойственно лицам верующих людей, безропотно подчиняющихся божьей воле. Бог не захотел совершить чуда; он тяжко поразил его дом; он имел свои основания, и ему, кардиналу, одному из высших сановников царства божьего на земле, надо было только преклониться перед его волей.

Молчание продолжалось еще несколько мгновений. Затем кардинал проговорил голосом, которому он сумел вернуть обычную приветливость:

— Вы покидаете нас: завтра вы уезжаете, мой дорогой сын?

— Да. Завтра я еще буду иметь честь проститься с вашим высокопреосвященством и еще раз поблагодарить за всю вашу благосклонность ко мне.

— Теперь вы, конечно, знаете, что конгрегация цензуры осудила вашу книгу, и понимаете, что это было неизбежно.

— Да, я имел счастье быть принятым его святейшеством и перед ним я подчинился всем требованиям и отрекся от своего произведения.

Влажные глаза кардинала начали оживляться.

— А, вы сделали это! Вы прекрасно поступили, дорогой мой сын! Это была ваша прямая обязанность, как священника. Но в наше время, к сожалению, многие не исполняют своего долга! Как член конгрегации, я сдержал данное вам слово и внимательно прочел вашу книгу, особенно страницы, отмеченные обвинением. И если затем я оставался безучастным к делу, даже не явился в то заседание, во время которого обсуждалось ваше произведение, то так я поступил единственно из желания доставить удовольствие моей бедной, дорогой племяннице, которая так любила вас и так защищала передо мной.

Вновь подступившие слезы прервали его слова; он чувствовал, что воспоминания о дорогой, навсегда утраченной Бенедетте, заставят его снова потерять свое самообладание. Он резко продолжал:

— Вы написали гнусную книгу, мой дорогой сын,—позвольте мне это вам прямо высказать, вы уверяли меня, что оставались верным догматам, но я до сих пор решительно не могу понять, как могло заблуждение ослепить вас до такой степени, что вы даже не сознавали всего ужаса своего преступления. Вы остались верны догматам! Великий боже! Ведь все ваше произведение есть полное отрицание нашей святой религии... Разве вы не чувствовали, что, требуя новой религии, вы отвергаете прежнюю, которая одна—истинна, справедлива и вечна? Этого достаточно, чтобы ваша книга превратилась в смертельный яд; это одна из тех нечестивых книг, которые в былое время сжигались рукою палача; теперь к несчастью, их оставляют в обращении и наложение на них запрещения только разжигает извращенное любопытство, вызывает к ним интерес теперешнего развращенного века... О, я хорошо разглядел в вашей книге идеи нашего умного и поэтического родственника, милого виконта Филибера де-ла Шу! Он литератор и

ничего не признает, кроме литературы. Я молю бога простить ему его преступления. Он сам не знает, что делает и к чему идет со своими элегическими идеями христианства, которыми он пользуется для снискания себе популярности среди красноречивых рабочих и молодых людей обоего пола, у которых наука совершенно опустошила сердца. И мой гнев направлен лишь против его высокопреосвященства кардинала Бержеро, который знает, что делает и чего хочет... Не говорите ничего, не защищайте его! Он восстает против церкви и против бога!

Вечером, когда уже прекратились визиты, и двери были закрыты, в тронной зале усопших начали укладывать в гроб. Богослужения окончились, замолкли ритуальные звонки, затихли латинские слова, звучавшие над дорогими покойниками в продолжение двенадцати часов. Наступило глубокое молчание. В тяжелом воздухе носился сильный запах роз и теплый аромат двух восковых свечей. Так как эти свечи не освещали обширного зала, то были принесены лампы, которые слуги, как факелы, держали в руках. Согласно обычаю, все слуги дома находились здесь же, чтобы сказать своим почившим вечным сном господам свое последнее «прости».

Произошло небольшое замедление. Хлопотавший с самого утра обо всем Морано теперь поспешно отправился за тройным гробом, которого до сих пор не доставили. Наконец, слуги внесли гроб, и можно было начинать. Кардинал и донна Серафина стояли рядом, возле самой постели. Здесь же находился и Пьер, и дон Виджилио. Викторина принялась зашивать покойников в широкий белый шелковый саван, в котором они казались одетыми в одно и то же брачное одеяние, светлую и радостную одежду их чистого союза. Затем подошли двое слуг и помогли Пьеру и дону Виджилио уложить усопших в первый гроб из соснового дерева, обитый розовым атласом. Этот гроб не был шире обыкновенного; до того тонки были юные покойники, представлявшие из себя в своем тесном объятии единое тело. И в гробу они продолжали спать своим вечным сном; головы их тонули в волне переплетшихся благоухающих волос. Когда этот первый гроб был помещен во второй—свинцовый и затем в третий—дубовый, когда все три гроба были запаяны и завинчены, и тогда сквозь стеклянное круглое отверстие, оставленное по римскому обычаю во всех трех гробах, можно было видеть улыбавшиеся лица покойников. Отрезанные навсегда от всего живого, усопшие продолжали глядеть друг на друга широко открытыми глазами. У них было достаточно времени, чтобы насладиться бесконечной любовью: перед ними была вечность.

XI.

На другой день, возвратившись с кладбища после похорон, Пьер один завтракал в своей комнате. Он решил сделать прощальный визит кардиналу и донне Серафине после полудня. Аббат в тот

же вечер, поездом, отходившим в семнадцать минут одиннадцатого, уезжал из Рима. Ничто более не удерживало его, ему оставалось только и хотелось посетить еще раз старика Орландо, героя войны за независимость, которому он решительно обещал не возвращаться в Париж прежде чем не побеседует с ним по душе. Около двух часов дня Пьер послал за фиакром и поехал в улицу Двадцатого Сентября.

Всю ночь шел мелкий дождь и весь город был окутан серым туманом. Дождь уже перестал итти, но все же стояла еще пасмурная погода, и большие новые дворцы в улице Двадцатого Сентября под сумрачным декабрьским небом казались необыкновенно мрачными, бесконечно унылыми с их совершенно одинаковыми балконами, с их правильными рядами бесчисленных окон. Особенно здание министерства финансов, эта колоссальная куча камня и скульптуры, носило отпечаток чего-то мертвенного и все было проникнуто безысходной скорбью, точно большое истекшее кровью и уже мертвое тело. Благодаря дождю, погода смягчилась и воздух, душный и влажный, был почти теплым.

Пьер очень удивился, когда в передней маленького особняка графов Прада встретился с четырьмя или пятью господами, снимавшими свои пальто. Слуга сказал ему, что у графа назначено собрание его подрядчиков. Но если аббат пришел к отцу графа, — говорил слуга, — то пусть он подыметесь на третий этаж. Маленькая дверь направо от площадки ведет к комнате старого графа.

Однако в первом же этаже Пьер столкнулся лицом к лицу с Прада, встречавшим своих подрядчиков. Аббат заметил, как граф ужасно побледнел, когда увидел его. После страшной драмы они встречались впервые. Пьер понял, какое тревожное настроение возбудил его визит в этом человеке, какое ужасное напоминание о нравственном соучастии в преступлении, и какой смертельный страх быть разгаданным вызвал он в нем.

— Вы пришли ко мне? вам надо о чем-нибудь поговорить со мной? — спросил Прада.

— Нет, я уезжаю и пришел проститься с вашим отцом.

Прада побледнел еще более; по лицу его пробежала судорога.

— А, вы к моему отцу... Он не так здоров... пожалуйста, будьте осторожны.

Против своей воли граф выдал себя, обнаружил свой страх. Он боялся неосторожно сказанного слова, быть может, даже последнего поручения, проклятия того человека, той женщины, которых он убил. Конечно, и отец умер бы тоже.

— А, как это досадно, что я не могу подняться к отцу вместе с вами! Те господа там ждут меня... Боже мой, какая досада! Как только я освобожусь, я приду к вам, о! Сейчас же, сейчас!

Он не знал, как задержать Пьера, и ему приходилось оставить его вдвоем с отцом, пока сам он будет сидеть здесь внизу, связанный своими денежными делами, которые запутывались все более и более. Сколько отчаяния было во взгляде Прада, когда он про-

вожал глазами подымавшегося по лестнице Пьера, как он умолял его всем своим существом! Его отец был единственным человеком, кого он действительно любил, кого он обожал искренно и преданно.

— Не заставляйте его много говорить, постарайтесь развлечь его, хорошо?

Пьер застал старика Орlando в том же кресле, за тем же столом, заваленным теми же газетами, с ногами, прикрытыми тем же черным одеялом. Казалось, эти помертвевшие ноги заставляли его сидеть там неподвижно, словно камень, и могли пройти целые месяцы, годы и все же можно было быть уверенным, что попрежнему увидишь его там совершенно неизменившимся, с лицом, преисполненным силой и умом.

Однако, в тот пасмурный день он казался усталым; лицо его было задумчиво.

— А, вот и вы, дорогой Фроман! Уже три дня я думаю о вас и переживаю вместе с вами те ужасные дни, которые вы должны переживать теперь в этом печальном дворце Бокканера. Боже мой, какая страшная трагедия! У меня сердце разрывается на части, а все эти газеты, передающие новые подробности драмы, положительно перевернули мне всю душу.

Он рукой указал на разбросанные на столе газеты, сделал резкий жест, точно желая отогнать скорбное воспоминание, отогнать преследовавший его образ Бенедетты, и спросил:

— Ну, а вы как поживаете?

— Я уезжаю сегодня вечером, но мне не хотелось покидать Рим, не пожавши ваши милые руки.

— Вы уезжаете? а ваша книга?

— Моя книга... Я был принят святым отцом и покорился: я отказался от моей книги.

Орlando пристально посмотрел на него. На мгновение воцарилось молчание, во время которого глаза обоих собеседников сказали им все, что они хотели сказать друг другу. Ни тот, ни другой не нуждались в более обстоятельных пояснениях. Старик просто добавил:

— Вы отлично сделали, — ваша книга была химерой.

— Да, — химерой, ребячеством, и я сам осудил ее во имя здравого смысла и правды.

Болезненная улыбка мелькнула на устах теперь немощного героя.

— Значит, вы убедились, вы поняли, вы знаете все.

— Да, я знаю все, и потому, именно, мне не хотелось уезжать, пока я не поговорю с вами по душе, как мы условились.

Орlando обрадовался. Но вдруг он словно вспомнил о молодом человеке, который открыл дверь Пьеру и потом скромно присел в сторонке, на стуле у окна. Он казался совершенным мальчиком, едва достигшим двадцати лет, безусый, белокурый, с длинными вьющимися волосами, с цветом лица, напоминавшим лилию,

с губами, подобными розе, с томно-мечтательными, бесконечно нежными глазами; он был красив той красотой блондина, которую можно встретить иногда в Неаполе. Старик по-отечески представил его: Анджиоло Маскара — внук одного из старых его товарищей по войне, легендарного Маскара из отряда тысячи, умершего героем, с телом, пробитым сотней пуль.

— Я выписал его, чтобы хорошенько пробрать. Представьте себе этот молодец с девичьим лицом весь проникнут новыми идеями. Он—анархист, один из трехсот или четырехсот наших итальянских анархистов. В сущности, он славный малый! У него есть только мать, которую он содержит на жалованьи с небольшой должности в одном из учреждений, откуда его, конечно, выгонят в один прекрасный день в самом недалеком будущем... Да, да, милый мой, ты должен дать мне слово вести себя благоразумнее.

Тогда Анджиоло, одетый в поношенное, хотя и чистое, платье, свидетельствовавшее о его действительной бедности, ответил очень серьезно своим музыкальным голосом:

— Я благоразумен и не я, а все другие безрассудны. Когда все эти люди сделаются благоразумными, когда все они станут стремиться к правде и справедливости, мир будет счастлив.

— Ага, вы думаете — он уступит! — воскликнул Орландо. — О, мое бедное дитя, спроси господина аббата, можно ли всегда знать, где найдешь правду и справедливость. Тебе надо еще пожить, присмотреться к людям, понять их.

Оставив его в покое, старик заговорил о делах Пьера. Анджиоло остался в своем углу, с очень мирным выражением лица, с глазами, пристально устремленными на обоих собеседников; весь обратившись в слух, он не пропускал ни одного слова.

— Я вам с уверенностью говорил, дорогой господин Фроман, что ваши идеи изменятся и что знакомство с Римом приведет вас к более точным понятиям гораздо скорее, чем все те длинные разговоры, которыми я старался бы убедить вас. Я никогда также не сомневался, что вы откажетесь от высказанных в вашей книге взглядов, с полной откровенностью, как от досадного заблуждения, лишь только люди и самые обстоятельства дадут вам возможность ознакомиться с Ватиканом... Но хорошо! не будем говорить о Ватикане, нам там нечего делать, пусть он себе погибает, медленно неизбежно подвергаясь разрушению. Что меня лично интересует, что увлекает меня еще и теперь, — это Рим, принадлежащий Италии, наш Рим, завоеванный с такой любовью, так лихорадочно воздвигнутый из мертвых, на который вы смотрели, как на нечто ничего не значущее, который вы видели и о котором мы можем говорить теперь, после того, как вы узнали его, вполне понимая друг друга.

Пьер осторожно прервал старика, желая высказать ту краткую формулу, до которой он дошел после своих хождений и своего изучения вечного города.

— О, эта горячка, — эта добыча, брошенная в первый час существования страны, этот финансовый крах, — еще пустяки! Все денежные раны заживают. Главное то, что вашу Италию надо еще создать... У вас нет больше аристократии, нет еще народа, — одна только буржуазия, народившаяся вчера, прожорливая, готовая съесть еще неспелой будущую жатву.

Оба собеседника помолчали. Срландо кивнул своей головой старого, теперь бессильного льва. Жестокость совершенно ясной формулы Пьера поразила его в самое сердце.

— Да, да, вы правы. Зачем лгать, зачем отрицать то, что очевидно для всех... — Эта буржуазия, боже мой! это среднее сословие, о котором я говорил уже вам, с его жаждой теплых местечек, должностей, знаков отличия и всяких значков и при всем том такое скупое, что дрожит над своими деньгами, и помещает их лишь в банки, никогда не рискуя вложить их в сельское хозяйство, в промышленное или коммерческое предприятие!.. Одна только потребность овладела всей их душой — потребность наслаждаться жизненными благами, ничего не делая; у них не хватает ума понять даже то, что они убивают родину своим отвращением к труду, своим презрением к народу, своим единственным стремлением — спокойно жить на свои сбережения, своим тщеславным желанием так или иначе пристроиться к администрации... А наша умирающая аристократия, развенчанное патрицианство, разоренное, осужденное на вырождение, в огромном большинстве дошедшее до нищенства! Другим, тем немногим, кому удалось уберечь свои деньги, приходится выносить бремя тяжелых налогов, их капиталы мертвы, неспособны к обновлению, раздроблены постоянными разделениями, обречены на полное исчезновение в недалеком будущем вместе с самими князьями под развалинами их дворцов, теперь совершенно не нужных... А народ, этот бедный народ, который страдал так много, страдает еще и теперь и так привык к страданию, что ему, повидимому, совершенно невозможно представить себе даже выход из своего бедственного положения: народ слепой и глухой, доведенный, быть-может, до сожаления о своем положении рабства, до полной безучастности ко всему, словно животное на своей навозной куче, народ совершенно невежественный, — в чем главная причина его нищеты, народ — без надежды, без будущего, без утешительной мысли о том, что эта Италия, этот Рим завоеваны нами только для него, для него одного, и что мы всеми силами стараемся воскресить его снова, как прежде, сделать его великим... Да, да, у нас нет аристократии, нет народа, а буржуазия может только пугать нас! Как не поддаваться хоть на время страхам пессимистов, доводам всех тех, кто уверяет, будто все наши несчастья еще пустяки и будто лишь впереди нас ожидают действительно ужасные катастрофы, будто мы переживаем теперь только начальную стадию гибели нашей расы. первые моменты окончательного уничтожения ее.

Он протянул руки к окну, к свету свои длинные дрожащие руки, и взволнованному Пьеру этот жест напомнил то движение, полное отчаянной мольбы, которое он видел, когда кардинал Бокканера призывал всемогущего господа. Оба они, такие антиподы в своих верованиях, были одинаково величественны в их суровом отчаянии.

— Как я говорил вам в первое наше свидание, мы стремились лишь к тому, чего требовала логика, что было неизбежно. Мы не могли сделать этого Рима, с его великим славным прошлым, которое так давит нас теперь, нашей столицей, потому что он один являлся прочным связующим звеном нашего единения, живым символом его и вместе с тем — надеждой на бессмертие, — весной нашей великой мечты о возрождении и славе.

— Я сейчас же, — продолжал священник, охотно сознаюсь в самом главном заблуждении моей книги. Этот итальянский Рим, которым я пренебрегал, принося его в жертву папскому Риму, о пробуждении которого мечтал, — этот Рим существует: он и теперь уже настолько торжествующий, что, конечно, папский Рим осужден роковым образом исчезнуть с течением времени. Как я убедился, папа напрасно упорствует оставаться неподвижно в своем Ватикане, на котором трещины увеличиваются с каждым днем, грозя полным разрушением; все развивается вокруг него, черный мир уже превратился в серый, смешанный с белым миром. И никогда я не чувствовал этого так ярко, как на празднестве, данном принцем Буонджованни по случаю помолвки его дочери с вашим внуком. Я вышел из его дворца совершенно очарованным, убежденный в успехе вашего дела возрождения.

Глаза старика заблистали.

— А, вы были на этом празднестве? Не правда ли, вы присутствовали на незабвенном зрелище? И теперь не сомневаетесь более в нашей жизнеспособности? Вы поняли, не правда ли, вы поняли, каким народом мы сделаемся, когда лежащие на нашем пути затруднения будут устранены? Что за беда, если для этого потребуются четверть века, или даже целый век. Италия возродится в своей древней славе, как только великий народ будущего вырастет на ее почве. И это совершенно верно, что я ненавижу этого Сакко, потому что он, по моему мнению, является воплощением интриганов, сластолюбцев, алчность которых задержала ход нашего развития, набросившись с жадностью на наши завоевания, стоившие нам столько крови и слез. Но я возрождаюсь в моем дорогом Аттилио, в этой истинной плоти, таком нежном и доблестном. В нем заключается будущее, он даст нам поколение честных людей, появление которых просветит и очистит страну... Ах! пусть же великий народ будущего родится от него и от этой Челии, от этой восхитительной маленькой княжны, которую Стефана, моя племянница, в сущности рассудительная женщина, приводила мне вчера. Если бы вы видели, как эта милая девочка бро-

силась мне на шею, называла меня самыми ласкательными именами, говорила, что я буду крестить ее первенца, чтобы он носил мое имя и спас во второй раз Италию... Да, да! Пусть воцарится мир вокруг этой колыбели, пусть союз этих дорогих детей послужит залогом нерасторжимого брака между Римом и целой нацией, пусть все недоразумения изгладятся и все засияет в ореоле их любви.

Слезы заволокли его глаза. Пьер, очень растроганный этим неистощимым пылом патриотизма, все еще горевшим у пораженного параличем героя, захотел доставить ему удовольствие.

— Это самое пожелание я высказал в день их помолвки, говоря вашему сыну почти то же, что вы только что сказали. Да, пусть их брак окажется прочным и плодотворным, пусть от него родится великая нация, какой я вам желаю сделаться, желаю от всего сердца теперь, когда я вас узнал.

— Вы это сказали! — воскликнул Орlando. — Вы это сказали! Тогда я вам прощаю вашу книгу, вы поняли, наконец, и новый Рим — вот он! Наш Рим, который мы хотим сделать достойным его славного прошлого, создав из него в третий раз царьство мира!

Энергичным жестом, в который он как бы вкладывал весь остаток своих жизненных сил, он указал из светлого без занавесей окна на грандиозную панораму, разворачивающуюся перед ним, — Рим, простиравшийся вдаль с одного конца горизонта до другого. Под серым зимним небом, под этим зимним трауром, столь редким в Риме, город получал как бы еще более возвышенное величие, меланхоличное величие царственной столицы, павшей с престола и ожидавшей безмолвно, неподвижно, среди пасмурного дня, блестящего пробуждения вновь обещанной ей царственной власти, признанной, наконец, всеми. От новых кварталов Виминальского холма до отдаленных деревень Яникульского, от порыжевших крыш Капитолия до зеленеющих верхушек Пинчيو, простирались точно морская зыбь террасы, башни, купола с беспредельностью океана, колышавшего бесконечно свои глубокие серые волны.

Но Орlando внезапно повернул голову, охваченный приступом отеческого негодования, и обратился к молодому Анджиоло Маскара:

— А ты, разбойник, мечтаешь разрушить наш Рим ударами бомб, стереть его с лица земли, как старый шатающийся подгнивший дом, чтобы навсегда избавить от него землю!

Анджиоло, молчавший до сих пор, с страстным вниманием прислушивался к разговору. На его безбородом лице, отличающемся красотой нежной блондинки, малейшее волнение вызывало внезапно вспыхивающий румянец; особенно разгорелись его большие голубые глаза, когда зашла речь о народе, об этом новом народе, который предстояло еще создать.

— Да, — ответил он медленно своим чистым музыкальным голосом, — да! Стереть его с лица земли, не оставить камня на камне, но разрушить его, чтобы выстроить вновь!

Орландо прервал его с хохотом, в котором звучала нежная насмешка:

— А ты собираешься его вновь выстроить? Это утешительно!

— Да, я выстроил бы его вновь, — повторил юноша, поднявшись с места, трепетным голосом вдохновенного пророка, — я выстроил бы его вновь, таким грандиозным, таким красивым, таким благородным! Разве для всемирной демократии будущего, для освобожденного, наконец, человечества не нужна единая столица, ковчег союза, как бы средоточие целого мира? И разве Рим не предназначен для этого, Рим, которого пророчества называли вечным, бессмертным, указывая на него, как на город, где свершатся судьбы народов? Но для того, чтобы Рим сделался святыней на все времена, столицей разрушенных царств, где будут раз в год собираться мудрецы со всех стран, надо сначала очистить его огнем, не оставить на нем и следа вековой грязи. Затем, когда солнце уничтожит заразные зародыши старой почвы, мы выстроим его вновь, в десять раз более красивым, в десять раз более грандиозным, чем он был раньше. И каким городом правды и справедливости будет, наконец, обетованный Рим, которого мы ждали в течение трех тысяч лет, весь из золота и мрамора, наполняющий собою Кампанию, простирающийся от моря до гор Сабинских и Албанских, такой благоденствующий, такой мудрый, что его двадцать миллионов обитателей будут жить, наслаждаясь жизнью, установив правильные законы труда. Да! да! Рим, мать, царица, город, которому не будет подобного на всем земном шаре и притом навеки!

Пьер, пораженный, слушал. Так вот до чего договорилась кровь Августа? В средние века папы, сделавшиеся властелинами Рима, почувствовали непреодолимую потребность выстроить его заново, испытывая постоянно желание вновь захватить в свои руки власть над миром. В недавнее время молодая Италия, овладев Римом, так же уступила немедленно этому атаквистическому безумию, этой страсти к всемирному господству, возводя целые кварталы для населения, которого на самом деле не оказалось. А теперь сами анархисты, при своей жажде всеобщего поворота, увлеклись той же упорной мечтой расы, на этот раз чрезмерно грандиозной, мечтою о создании четвертого чудовищного Рима, предместья которого должны были, в конце концов, охватить все земные материки, чтобы поселить в них свое освобожденное человечество, соединенное в единую семью. Это была капля, переполняющая чашу! Нельзя было дать более оригинального доказательства, что кровь гордыни и властолюбия, горевшая в венах этой расы не вымерла с тех пор, как Август оставил ей в наследие свое стремление владычествовать над миром вместе с страстными инстинк-

тивным убеждением, что мир принадлежит по закону ей и что на нее возложена миссия в ближайшем будущем вновь завоевать его. Такое убеждение порождалось самой почвой: из нее исходил сок, опьяняющий всех детей этой исторической страны, который побуждал их всех создать из своего города единственный город, город, царствовавший некогда и долженствующий царствовать блестящим образом и в будущем, в дни предсказанные оракулом. Пьер вспомнил четыре вещие буквы S. P. Q. R. древнего славного Рима, которые он встречал повсюду и в современном Риме, точно приказ судьбе обеспечить городу решительную победу; эти буквы были начертаны на всех стенах, на всех вывесках, до городских тачек для нечистот включительно, вывозимых по утру. Пьер начинал понимать грандиозное тщеславие этих людей, вспоминавших постоянно величие предков, гипнотизированных прошлым своего Рима, заявляющих, что они сами не в силах узнать о всех его подробностях, что Рим — сфинкс, уполномоченный сказать современем миру вещее слово, что он так велик и так благороден, что все в нем принимает величественные размеры и облагораживается. В виду этого они требуют от всего мира идолопоклоннического преклонения перед ним, поддаваясь живой иллюзии, окружающей его легенды, смешивая то, что могло быть великим, с тем, что уже перестало быть им.

— Но я знаю его, твой четвертый Рим! — начал Орlando, развеселившийся вновь. — Это Рим народа, столица всемирной республики, о которой мечтал уже Мадзини. Правда, он впутывал туда и папу... Видишь ли, мой мальчик, если мы, старые республиканцы, признали монархию, то лишь из боязни, чтобы в случае революции страна не попала в руки опасных безумцев, смугливших твоей рассудок. И мы, в конце-концов, ей богу, совсем примирились с нашей монархией, которая в сущности мало чем отличается от хорошей парламентарной республики... Ну, до свиданья! Будь умницей, не забывай, что твоя мать умерла бы, если бы с тобою случилась какая-нибудь неприятность. Подойди поближе, я все-таки хочу тебя поцеловать.

Анджиоло покраснел, как молодая девушка, под ласковым поцелуем героя; затем он ушел со своим кротким видом пробужденного мечтателя, вежливо, но безмолвно поклонившись молодому священнику.

Воцарилось молчание; взор старого Орlando упал на газеты, разбросанные по ковру, и он вновь заговорил о страшном трауре, постигшем Бокканера. Эта Бенедетта, которую он обожал как родную дочь, в тяжелые дни, которые она проводила под одной кровлей с ним, — какой страшной смертью умерла она, какая трагическая судьба постигла ее! Умереть одновременно с человеком, которого она любила! Находя странными рассказы газет, он мучился над разрешением того, что казалось ему смутным в полученных им сведениях, и задал несколько вопросов священнику о подробностях, когда его сын Прада внезапно вошел в комнату,

запыхавшись от быстрого поднятия по лестнице, с лицом, выражавшим мучительное беспокойство. Очувившись наверху перед стариком, он прежде всего внимательно посмотрел на своего отца, чтобы узнать, не поразили ли его священник каким-нибудь неосторожным словом.

Он задрожал, увидев его трепещущим, взволнованным страшным событием, о котором он разговаривал. Одно мгновение ему показало, что он пришел слишком поздно и что несчастье уже обрушилось.

— Боже мой! Отец, что с вами? Почему вы плачете?

И он бросился на колени к его ногам, схватил его за руки, и с такой страстной любовью, с таким обожанием смотрел на него, что, казалось, был готов отдать всю кровь свою, лишь бы избавить его от малейшего страдания.

— Мы говорим о смерти этой бедной молодой женщины... — грустно промолвил Орlando. — Я сказал уже господину Фроману, в какое отчаяние она привела меня, и могут добавить только, что не понимаю, как все это произошло... В газетах пишут, будто смерть была совершенно внезапная, а такая смерть всегда кажется загадочной!

Сильно побледневший Прада встал. Аббат не вымолвил ни слова. Но какую ужасную минуту пришлось пережить графу! Что, если бы он ответил, если бы он заговорил!

— Вы присутствовали при этом, — не правда ли, — продолжал старик. — Вы все видели... Расскажите же, как это произошло.

Прада посмотрел на Пьера. Их взгляды пристально скрестились, как бы проникая в душу друг другу. Для них все начиналось сызнова. Они опять видели движущуюся вперед судьбу, Сантобино, встреченного у подножья склонов Фраскати с его маленькою корзинкой; им вспомнилось возвращение через грустную Кампанию, разговор о яде, между тем как маленькая корзинка мчалась вперед, колыхаясь слегка на коленях священника; и в особенности гостиница, дремлющая среди пустынной местности, и черная курочка, пораженная смертью, точно ударом грома, с фиолетовой струей крови, вытекающей из клюва. Затем перед ними восставал происходивший в ту же ночь блестящий бал во дворце Буонджованни, полный благоухания женщин, торжества любви. Наконец, перед ними возникали дворец Бокканера, черневший под серебрстыми лучами луны, и человек, который зажег сигару и ушел, не поворачивая головы, предоставив таинственной судьбе свершить свое убийственное дело. Эту историю оба знали, оба переживали ее; им незачем было вслух повторять ее, чтобы увериться, что они разгадали друг друга, проникли в глубину душ один другого.

Пьер не тотчас ответил старику:

— О! — прошептал он, наконец, — все это ужасно, ужасно!

— Конечно, я так и подозревал! — заговорил снова Орlando. Вы можете все сказать нам... Мой сын простил в виду ее смерти.

Взор Прада снова стал искать взора Пьера и устремился на него так пристально, с такой страстной мольбой, что священник почувствовал глубокое волнение. Он вспомнил мучения этого человека перед балом, страшную пытку ревности, которую он претерпел, прежде чем предоставил судьбе отомстить за него. И он представил себе, какая драма должна была происходить в его душе после страшной развязки; прежде всего, его поразила жестокость судьбы, жестокость мщения, которого он не представлял себе никогда в таком ужасном виде; затем наступило ледяное спокойствие счастливого игрока, который ждет событий, читая газеты, и если чувствует угрызения, то лишь такие, какие испытывает капитан, одержавший победы ценой пролития большого количества крови. Он тотчас понял, что кардинал постарается замять это дело, ради достоинства церкви. Единственное, что у него осталось на сердце, — тяжелый гнет, быть может, сожаление об этой столь желанной женщине, которую он никогда не обладал и никогда не будет обладать, а, может быть, также и ужасная посмертная ревность: хотя он не признавался себе в этом, но он должен был непрестанно страдать при мысли, что она вечно будет в своей могиле покоиться в объятиях другого человека. И вот, из усилия, которое он делал, чтобы победить себя и оставаться спокойным, из этого хладнокровного ожидания, не смущаемого никакими угрызениями совести, вытекало наказание, страх, чтобы судьба, шествуя вперед с отравленными винными ягодами, не остановилась в своем движении и не нанесла его отцу отраженный смертельный удар. Еще один удар молнии, еще одна жертва, самая неожиданная, самая обожаемая. Вся его сила сопротивления рушилась в одно мгновение, он трепетал теперь перед судьбой, обезоруженный и испуганный, точно ребенок.

— Но,—сказал медленно Пьер, как бы отыскивая слова,—газеты ведь сообщили вам, что сначала умер князь, а затем умерла от горя и контессина, обнимая его в последний раз. Что же касается до причин смерти, о, господи боже мой! Вы знаете прекрасно, что и доктора не всегда решаются с уверенностью высказаться относительно этого... Сначала подумали, что у него расстройство желудка, — продолжал Пьер, — но положение его так быстро ухудшалось, что все перепугались и побежали за доктором...

Ох! глаза, глаза Прады! В них сквозило такое отчаяние, они были полны такой тоски, отчаянной тоски, что священник читал в них все те решительные доводы, которые должны были побудить его молчать. Нет, нет! Он не нанесет удара невинному старику, он не давал никаких обещаний, ему казалось, что он отягчил бы преступлением память умершей, если бы послушался ее предсмертной ненависти. Прада, в течение этих нескольких минут тоски перестрадал целую жизнь, полную горя, такую ужасную, что можно было сказать: правосудие уже свершилось.

— И когда приехал доктор, — сказал Пьер, — он окончательно признал заразительную лихорадку. Не было никаких сомнений... Я присутствовал утром на похоронах, которые были очень красивы и трогательны. Я уезжаю сегодня вечером... — закончил Пьер, совершенно разбитый, желая прекратить беседу. — Теперь я позволю себе проститься с вами сейчас... Нет ли у вас какого-нибудь поручения в Париж?

— Нет, нет, никакого... — ответил Орlando.

Затем, вдруг вспомнив, он добавил:

— А, Впрочем, у меня есть поручение... Помните ли вы книгу — сочинение моего старого товарища по войне Теофила Морена, одного из тысячи Гарибальди, — это руководство к экзамену на бакалавра, которое он хотел перевести и распространить в качестве учебника. Я очень рад, так как получил известие, что его примут как руководство в наших школах, но под условием некоторых изменений. Луиджи! дай мне том, который лежит там, на полке.

Сын передал ему книгу, и он указал Пьеру на заметки, сделанные им карандашом на полях, объясняя, какого рода изменения требуются от автора в общем плане его произведения.

— Будьте так добры, отнесите сами эту книгу Морену, адрес которого находится на обложке. Вы избавите меня этим от необходимости писать длинное письмо, а сами в десять минут расскажете больше, объясните все более ясным и лучшим образом, чем я мог бы это сделать на десяти страницах... Обнимите за меня Морена, и скажите ему, что я попрежнему люблю его. Ах! всем моим сердцем, совершенно так, как я любил его в былое время, когда ноги у меня были целы и мы оба дрались под градом пуль!

Наступило короткое молчание, то молчание, то растроганное смущение, которое всегда предшествует минуте отъезда.

— Ну, прощайте!.. обнимите меня еще раз за него и за себя, обнимите меня понежнее, так, как только что меня целовал маленький Анджиоло... Я так стар и так близок к концу, дорогой господин Фроман, что вы позволите мне назвать вас своим внуком, поцеловать вас деловским поцелуем и пожелать вам мужества, мира и веры в жизнь, которая одна только дает возможность жить.

Пьер был так растроган, что слезы выступили у него на глазах, и когда он поцеловал от всей души в обе щеки пораженного параличем героя, он почувствовал, что и Орlando плачет. Все еще могучей рукой, похожей на тиски, старик удержал еще на минуту сзаченника около своего кресла казени, между тем как другой он величественным жестом указал в последний раз на Рим, грандиозный под своим трауром — печально-серым небом. Его голос понизился до шопота, дрожащего, унылого.

— Ради бога, поклонитесь мне из Рима во что бы то ни стало, несмотря на все, потому что он представляет комбеля,

он представляет мать! Любить его за то, чем он был некогда, за то, чем он хочет стать! Не говорите, что он кончен, любите его, любите его, чтобы он продолжал существовать и в настоящем, и в будущем.

Ему оставалось только уехать, и он представлял себе, что он уже уехал, а весь окружающий Рим—только образ, который он уносит в своей памяти. Но нужно было еще оставаться один час, и этот час казался ему непомерно длинным. Под его ногами мрачный пустынный дворец спал, погруженный в глубокое молчание. Он сел, решившись терпеливо ждать минуту отъезда и впал в глубокое раздумье.

В его воображении восстала его книга «Новый Рим» в том виде, в каком он написал ее, в каком он пришел защищать ее. И он вспомнил первое утро, проведенное им на Яникульском холме, на краю террасы в Сан-Пьетро Монторио, перед лицом Рима, о котором он мечтал, Рима помолодевшего, детски-ласкового, раскинувшегося под величественным чистым небом, как бы собиравшегося улететь в свежести утра. Там он поставил себе решительный вопрос: мог ли католицизм обновиться, вернуться к духу первобытного христианства, сделаться религией демократии, той веры, которую современный мир изнуренный, находящийся в смертельной опасности, ожидает, чтобы умиротвориться и жить. Его сердце билось от энтузиазма и надежды. Не успев еще оправиться от поражения, понесенного им в Лурде, он приехал сюда, чтобы произвести решительный опыт, потребовав у Рима ответа на свой вопрос. А теперь опыт окончился неудачей, он знал, какой ответ дал ему Рим своими развалинами, своими памятниками, своей почвой, своим народом, своими прелатами, своими кардиналами, своим папой! Нет! Католицизм не мог обновиться, нет! он не мог вернуться к духу первобытного христианства, нет! он не мог сделаться религией демократии, новой веры, которая могла бы спасти старые, разрушающиеся общества, близкие к смерти. Хотя католицизм и казался демократического происхождения, он ныне прикован к этой римской почве в качестве царственного властелина, принужденного под страхом самоубийства упорствовать в сохранении светской власти, связанного традицией, закованного в догматы, развивающегося только внешним образом, доведенного до такой неподвижности, что за бронзовыми воротами Ватикана папство оказывалось пленником, привидением восемнадцативекового атавизма, в своей непрерывной мечте о достижении всемирного господства. Там, где его вера священника, доведенного до экзальтации любовью к страдающим и обездоленным, пришла искать жизни воскрешения христианской общины, он нашел смерть, прах разрушенного мира без способности к произведению зародышей,—истощенную почву, на которой ничто не могло больше вырасти, кроме этого деспотичного папства, властителя телес, настолько же, насколько и властителя душ. На его отчаянное требование новой религии Рим дал только один ответ: осудил его

книгу, как запятнанную ересь и сам он уничтожил ее под влиянием горького разочарования. Он все видел, все рушилось вокруг него, и среди развалин погребены и его душа, и его мозг.

Этот, упавший в пепельном тумане, Рим, здания которого неясно вырисовывались вдаль, до такой степени сжал его сердце, что он отошел от окна и упал на стул около своего багажа. Никогда еще он не чувствовал такого горя, ему казалось, что душа его окончательно погибла. Он вспомнил, как после испытанного им в Лурде поражения в его уме возникла мысль об этой поездке в Рим, об этом новом опыте. Он приехал в вечный город не для того, чтобы молить его вернуть ему глубокую, детскую, младенческую веру, он просил у него возвышенной веры умственно развитого человека, которая возвышалась бы над обрядами и символами и способствовала бы достижению человечеству возможно большего счастья, основанного на потребности в достоверности. И если все это рушилось, если обновленный католицизм не мог сделаться религией и нравственным законом нового народа, если папа, живя в Риме и действуя заодно с Римом, не представлял из себя отца, ковчег завета, духовного главу, то голосу которого прислушиваются, которому повинуются, то это в его глазах было равносильно крушению последней надежды, полному разрушению, приводящему к гибели и все современные общества. Слишком продолжительные страдания бедняков должны были зажечь всемирный пожар. Весь этот строй, созданный католическим социализмом, который казался ему таким удачным, таким торжествующим, способным упрочить старую церковь, лежал теперь повергнутый наземь; разобравши его хорошенько, Пьер признавал его простой палиативной мерой; она, быть может, могла в течение нескольких лет поддержать близкие к разрушению здания, но в основе ее лежало добровольное недоразумение, искусственно придуманная ложь, тактика дипломатии и политики. Нет, нет, еще раз обманывать и подкупать народ, ласкать его, чтобы поработать— этот образ действия претил Пьеру, и вся система казалась ему безобразной, опасной, неустойчивой, могущей приводить к еще худшим катастрофам. Значит, наступил конец, ничего прочного не оставалось, старый мир должен был исчезнуть среди страшного кровавого кризиса, о приближении которого указывали многие достоверные признаки, а он, стоя перед этим хаосом, не ощущал в себе более души; он сделал опыт, убежденный заранее, что выйдет из него либо укрепленным в вере, либо навсегда пораженным, и этот опыт оказался решающим. Молния упала на него. Что же теперь делать, о господи боже мой. Тоска начала так сильно томить Пьера, что он встал и стал ходить по комнате, стараясь успокоиться. Великий боже, что делать теперь, когда к нему вернулось вновь ужасное сомнение, болезненное отрицание, и когда его ряса еще более тяжелым, чем когда-либо, гнетом лежала на его плечах? Он вспомнил о своем возмущении, о своем отказе подчиниться, о словах, сказанных им монсеньору Нани, что душа

его не может смириться, что он не может отречься от своей надежды на спасение помощью любви, что он ответит другой книгой и тогда скажет, на какой новой почве должна возникнуть новая религия. Да, он напишет пламенную книгу против Рима, где расскажет все, что видел, все, что слышал,—книгу, где изображен будет настоящий Рим, Рим без милосердия, без любви, находящейся в полной агонии под своим пурпуром! Он хотел вернуться в Париж, отречься от церкви, дойти до раскола. И вот, его багаж готов, он уезжает, он напишет книгу, он делается главою ожидаемого раскола. Ах, раскол! Разве не все возвещало его, разве он становился неизбежным среди грандиозного движения умов, не удовлетворяющихся старыми догматами, и в то же время жаждущих божественного? Лев XIII, повидимому, смутно сознавал это, потому что вся его политика, его усилие об'единить христианство, его нежность к демократии имели единственной целью сгруппировать всю христианскую семью вокруг папства, расширить ее и упрочить, чтобы сделать папу непобедимым в предстоящей борьбе. Но час пробил, католицизм окажется вскоре не в силах делать новые политические уступки, неспособным итти на дальнейшие компромиссы, так как эти компромиссы должны были повести его к смерти; он застыл в неподвижности в Риме, подобно древнему священному идолу, а между тем он был способен развиваться в другом месте, в странах пропаганды, где ему приходится вести борьбу с другими религиями. Вот почему Рим и был осужден на гибель, тем более, что уничтожение светской власти, приучая ум к идее о чисто духовном папе, освобожденном от земных уз, как бы благоприятствовало появлению в будущем анти-папы, где-нибудь вдали, в то время, как преемник св. Петра будет упорствовать в своей императорской и римской фикции. Скоро должен был появиться новый епископ, новый священник, но где, кто бы это мог сказать. Быть может, там, в свободной Америке, среди священников, из которых необходимость жизненной борьбы создала убежденных социалистов, пылких демократов, готовых итти рука об руку с будущим веком. А между тем, как Рим...

Стоя у окна перед лицом Рима, тонувшего в тени, укутанного туманом, волны которого, казалось, стирали с лица земли его здания, Пьер так глубоко задумался, что не услышал голоса, звавшего его. Викторине пришлось дотронуться рукою до его плеча:

— Господин аббат, господин аббат!..

Он, наконец, обернулся и Викторина сказала:

— Уже половина десятого, извозчик внизу. Джакомо снес багаж... Надо ехать, господин аббат.

Заметив его растерянный вид, она улыбнулась:

— Вы прощались с Римом?—Страшно гадкий он сегодня!

— Да, страшно гадкий, — ответил он просто.

Они спустились с лестницы. Пьер передал ей сто франков для раздела между слугами. Викторина извинилась, что пойдет впе-

реди его с лампой, так как, по ее словам, в этом дворце так темно, что не видно, куда ступить!

Ах! этот отъезд, этот последний спуск с лестницы среди пустынного, мрачного дворца. У Пьера сердце разрывалось на части. Он окинул комнату последним прощальным взглядом, который всегда возбуждал в нем чувство тоски; ему казалось всегда, что он оставляет часть своей души, даже покидая такую комнату, где ему приходилось много страдать. Проходя перед спальнею донна Виджилио, откуда исходило только трепетное безмолвие, он представил себе секретаря, который лежит, зарывшись с головою в подушку, задерживая дыхание из страха, чтобы оно не выдало его и не навлекло на него мщенья. Но больше всего поразило Пьера на площадках второго и первого этажа, перед запертыми дверями донны Серафины и кардинала то обстоятельство, что из них также не раздавалось ни малейшего звука, даже дуновения; казалось, что он проходит мимо могил. Со времени возвращения с похорон ни кардинал, ни донна Серафина не подавали признака жизни; они заперлись, исчезли, погружая в неподвижность весь дом, так что в нем не слышались ни шопот разговора, ни осторожные шаги лакея. Викторина все спускалась с лампой в руке, а Пьер следовал за нею, размышляя об этих двух людях, которые остались одни в разваливающемся дворце, — последние потомки наполовину рушившегося мира, стоявшие на пороге нового мира. Дарио и Бенедетта унесли с собой последнюю надежду на жизнь, остались только старая дева и старик кардинал, которые не могли способствовать возрождению рода. Ах! эти бесконечные коридоры, погруженные в зловещий мрак, эта гигантская, холодная лестница, как бы спускавшаяся в бездну небытия, эти громадные залы, стены которых покрывались трещинами вследствие отсутствия денег для ремонта! А внутренний двор, похожий на кладбище, поросший травой, с сырым портиком, где покрывались мхом бюсты Аполлона и Венеры! А маленький пустынный сад, наполненный ароматом зрелых апельсинов, куда никто не будет ходить теперь, так как в нем нельзя уже будет встретить роскошной контессины под лавровым деревом, около саркофага! Все это рушилось, благодаря позмутительной потере, безмолвию смерти: двум последним Бокканера оставалось только ждать в их суровом величии, пока их дворец вместе с их богом обрушится на их головы. Пьер ничего больше не различал, кроме очень легкого шума; вероятно, бегали мыши, а может быть, грезили тае-нибудь зубы какого-нибудь грызуна, или же аббат Пизарелло, в глубине одной из заброшенных комнат, понемногу разрушал стены, стараясь подрывать основание старого здания и ускорить его разрушение.

Извозчичья коляска стояла перед дверью с ее двумя факелами, два больших желтых луча которых прорезывали мрак улич- Багаж уже был снесен, маленький сундук поставили возле кучера, чемодан на переднем сиденье. Пьер тотчас сел.

— О, у вас еще достаточно времени, — сказала Викторина, оставшаяся стоять на тротуаре. — Все ваше при вас. Очень рада, что вы уезжаете благополучно.

В эту минуту вид этой соотечественницы, этой доброй женщины, которая приняла его в день приезда и провожала его в день отъезда, представлял для Пьера большое утешение.

— Я не говорю вам до свидания, господин аббат, так как не думаю, чтобы вы скоро вернулись в их чертовский город. Прощайте, господин аббат!

— Прощайте, Викторина! И благодарю вас, благодарю от всего сердца!

Коляска тронулась и быстро унесла его по узким и извилистым улицам, ведущим на Корсо Виктора Эммануила. Дождя не было, и верх коляски был спущен; но хотя сырой воздух был теплый, молодой священник почувствовал себя продрогшим; тем не менее он не захотел терять времени и останавливать кучера, который, повидимому, был очень молчалив и торопился избавиться от своего седока.

Выехав на Корсо Виктора Эммануила, Пьер удивился, увидев его таким пустынным в этот, еще не поздний час ночи. Дома были забаррикадированы, улицы пусты, горели только электрические фонари в грустном одиночестве. Действительно было далеко не тепло, а туман все рос, все увеличивался и все более и более обволакивал фасад. Когда Пьер проезжал мимо Канцлерства, ему показалось, что строгий колоссальный монумент как бы отодвигается и испаряется, словно греза. А несколько дальше направо, в глубине улицы Арачели, на которой как звездочки светились изредка туманные газовые фонари, Капитолий совсем утонул в густом мраке. Дальше широкое Корсо суживалось, коляска катилась между двумя мрачными подавляющими массами темного Джезу и тяжеловесного дворца Альтиери. Попавши в этот проход, даже в чудные солнечные дни, вы ощущали сырость древних времен. Пьер снова погрузился в глубокое раздумье, его тело и душу охватил трепет.

Внезапно в нем возникла вновь та мысль, которая подчас раньше тревожила его, а именно, что человечество, вышедшее из Азии, всегда двигалось в сторону солнца. Непрестанно дул восточный ветер, унося на запад человеческое семя для будущих жатв. Давно уже колыбель человечества была поражена разрушением и смертью, как будто народы не могли двигаться вперед иначе, как этапами, оставляя позади себя истощенную почву, разрушенные города, погибающее и вырождающееся население, по мере того, как они переходили с востока на запад, стремясь к неизвестной цели. Таковы были Ниневия и Вавилон на берегах Евфрата, Фивы и Мемфис на берегах Нила, рассыпавшиеся в прах, впавшие от старости и усталости в нравственное оцепенение, без возможности пробуждения. Отсюда это одряхление распростра-

нилось до берегов великого Средиземного озера, погребая в прахе веков Тир и Сидон, шествуя все дальше и дальше и усыпляя Карфаген, пораженный старческой дряхлостью в самом расцвете своих сил. Это двигающееся непрестанно человечество, которое неведомые силы цивилизации толкали таким образом вперед от востока к западу, обозначало свои дневные этапы развалинами, и какую страшную бесплодность представляет в настоящее время эта колыбель истории, эта Азия, этот Египет, вернувшийся к детскому лепету, законченный в неподвижности и бессилии среди развалин древних столиц, бывших некогда владычицами мира!

Во время проезда Пьер, несмотря на свою задумчивость, испытывал смутное сознание, что Венецианский дворец, утонувший во мраке, точно рушится под нападением невидимых сил. Туман обволакивал его зубцы, а высокие обнаженные стены, столь грозные, как бы колебались под напором возрастающей темноты. Затем, после глубокой пробоины Корсо налево, пустынного также при бледном свете электрических ламп, появился направо дворец Торлония с его флигелем, пробитым киркою разрушителя, между тем, как налево снова вырисовывался дворец Колонна с его мрачным фасадом и запертыми окнами; казалось, что и он также, оставленный своими прежними владельцами, лишенный своей вековой роскоши, ожидает в свою очередь разрушителя...

Тогда при замедленном ходе коляски, начавшей взбираться в гору по Национальной улице, Пьер продолжал свои размышления. Разве Рим также не был поражен на-смерть, разве не пробил его час исчезнуть среди этого разрушения, которое движущиеся всегда вперед народы оставляют за собой? Греция, Афины и Спарта дремали под гнетом своих доблестных воспоминаний, не играли более никакой роли в современном мире. Весь юг Аппенинского полуострова был уже охвачен прогрессивным параличем. Пора уже Риму разделить участь Неаполя. Рим находился на границе заразы, на этом рубеже смертоносного пятна, которое распространяется все больше и больше по старому свету, на том рубеже, где начинается агония, где истощившаяся земля не желает больше кормить и поддерживать города, где люди, повидимому, при самом рождении оказываются пораженными дряхлостью. В течение двух уже веков Рим падал все ниже и ниже, мало-по-малу устранялся от современной жизни, лишенный промышленности и торговли, неспособный даже культивировать у себя науку, литературу и искусство. Рушилась не одна только базилика св. Петра, осыпавшая траву своими развалинами, как это происходило некогда с храмом Юпитера Капитолийского. Мрачные, болезненные думы, овладевшие им, внушали ему убеждение, что на этот раз происходило грандиозное крушение целого Рима, покрывавшего семь холмов хаосом своих развалин; исчезали церкви, дворцы, целые кварталы, засыпая под сорными травами и терниями. Подобно Ниневии и Вавилону, подобно Фивам и Мемфису, Рим предствлял не что иное, как пустырь, покрытый буграми развалин, обитаемых только

змеями и крысами; напрасны были бы все усилия отыскать между ними место древних римских зданий.

Коляска повернула, и Пьер узнал направо в грандиозном углублении спустившегося мрака колонну Траяна, но в этот час она возвышалась перед ним черная, подобная омертвелому стволу гигантского дерева, от старости лишившегося веток. Выше, проезжая по треугольной площади, Пьер, подняв глаза, рассмотрел настоящее дерево на фоне свинцового неба, зонтичную линию виллы Альдобрандини, воплощавшую в себе грацию и гордость Рима; теперь она казалась ему не чем иным, как грязным пятном, небольшим облачком угольной пыли, поднявшейся вследствие полного крушения города.

Теперь, когда он приходил к концу своего трагического раздумия, его охватил страх, чувство братства проснулось в нем вместе с тревогой. Когда окоченение, охватывавшее одряхлевший мир, перейдет за пределы Рима, когда оно поразит Ломбардию, когда Геную, Турин и Милан заснут так, как заснула уже Венеция, тогда должна наступить очередь Франции. Окоченение перейдет за Альпы, Марсель увидит свои порты, занесенные песком, подобно портам Тира и Сидона. Лион погрузится в одиночество и сон. Наконец, Париж, охваченный непобедимым оцепенением, превращенный в пустырь, покрытый бесплодными камнями и поросший колючками, пойдет по стопам Рима, Ниневии и Вавилона, между тем, как народы будут продолжать свое шествие с востока на запад, следуя за вечным солнцем. Грандиозный крик раздался во мраке, — предсмертный крик латинских рас. История, родившаяся, повидимому, в бассейне Средиземного моря, перемещалась, и теперь океан делался центром мира. Какой дневной этап переживала в настоящее время человеческая жизнь! Вышедши из своей колыбели при зарождении зари, человечество переходило от одного этапа к другому, усеивая свой путь развалинами; — не переживало ли оно теперь половины своей жизни, яркого полудня. — Следовательно, теперь начиналась другая половина жизни, на сцену истории вместо Старого Света выступал Новый, — те города Америки, где вырабатываются начала демократии, где возникает религия будущего, — царицы, владетельницы будущего, и затем там, по ту сторону другого океана, на противоположном конце земли, возврат к колыбели, неподвижный крайний восток, таинственный Китай и Япония, грозная грандиозная масса желтой расы.

Но по мере того как коляска подымалась по Национальной улице, Пьер чувствовал, как его кошмар мало-по-малу начинает рассеиваться. Подул более легкий ветерок, мужество и надежда возвращались к нему. И все же банк с его безобразным новым стилем, с его выбеленной известью громадой произвел на него впечатление привидения, окутанного в саван, которое прогуливается ночью, между тем, как наверху смутно вырисовывающиеся сады и Квиринал образовывали черную линию, преграждающую небо. Улица подымалась, все более и более расширяясь. Наконец, на

вершине Виминальского холма, на площади Терм, проезжая мимо Диоклетиановых бань, Пьер вздохнул полной грудью. Нет, нет, жизнь человеческая не могла кончиться, и этапы цивилизации будут до бесконечности следовать друг за другом. Что за беда, если дует восточный ветер,двигающий народы на запад, народы, как бы влекомые силою солнца. — Если окажется нужным, они вернутся с другой стороны шара, они обойдут несколько раз землю до того дня, когда им будет дана возможность осесть в мире под сенью истины и справедливости. После будущей цивилизации, которая сгруппируется вокруг Атлантического океана, сделавшегося центром и усеянного по берегам могущественными городами, возникает еще новая цивилизация: центром ее будет Тихий океан с другими соперничающими странами; где возникнут последние — предвидеть невозможно, так как зародыши их таятся на неизвестных берегах. Затем на смену явятся другие цивилизации, еще другие, все новые! В эту последнюю минуту у него явилась, внушившая ему надежду на спасение мысль, что великое движение национальностей представляет собою инстинкт, потребность народов вернуться к единению. Исходя из одной семьи, они затем разлучились, рассеялись, образуя новые племена, вели между собой братоубийственную борьбу, а теперь стремятся вновь образовать единую семью. Области соединились в народы, народы соединятся в расы, расы кончат тем, что соединятся в одно единое бессмертное человечество. Создастся, наконец, человечество без границ, без опасностей войн, живущее справедливым трудом без зависти, без вражды. Разве не эта эволюция, цель труда, производящая всюду развязка истории. — Пусть же Италия становится могучим и здоровым народом, пусть установится соглашение между нею и Францией и пусть это братство латинских рас положит начало всемирному братству! Ах! эта единая родина, эта умиротворенная и счастливая страна! Когда же, через сколько веков осуществится эта мечта?

На вокзале, среди толкотни, Пьеру не пришлось более думать. Ему надо было взять билет, сдать багаж. Он тотчас сел в вагон. Через день, на рассвете, он будет в Париже!

К о н е ц.
